

опустошитель

[иверсния курутьлы]

#40

изоляция



Журнал «Опустошитель»
#40. Изоляция
Москва, август 2023
208 страниц

Главный редактор Вадим Климов

Как писал Эрих Мария Ремарк: «Насколько мне известно, только у древних греков были боги вина и веселья — Вакх и Дионис. А у нас вместо них — Фрейд, комплексы неполноценности и психоанализ, боязнь громких слов в любви и склонность к громким словам в политике». 40-й номер «Опустошителя» будет распространяться исключительно в пенитенциарных учреждениях России. Узники свободы и ее отсутствия познакомятся со своими коллегами, заключенными на страницах инверсивного издания. Ален де Бенуа, Дарья Дугина, Уилки Коллинз, Владимир Лорченков, Люсьен Рёбате и многие другие поделятся опытом изоляции от мира, людей, логоса и здравого смысла. Лучший коктейль для окончания лета 2023.

*В оформлении обложки использована
фотография Дарьи Фрон.*

ISSN 2219-5424

Опустошитель, 2023
<http://pustoshit.ru>

ж
у
р
н
а
л

О П У
С Т О
Ш И Т
Е Л Ь

#40. Изоляция

Ален де Бенуа
Степан Бирюков
Александра Герцена
Михель Гофман
Илья Дейкун
Дарья Дугина
Вадим Климов
Владимир Коваленко
Дмитрий Колейчик
Уилки Коллинз
Станислав Курашев
Андрей Ладога
Владимир Лорченков
Вячеслав Молчанов
Алексей Николаев
Люсьен Рёбате
Марио Харн
Нелли Цымбаленко

Москва
Август 2023

ТОРЖЕСТВО ИЗОЛЯЦИИ И ОХОТА НА ВЕДЬМ



Как писал Эрих Мария Ремарк: «Насколько мне известно, только у древних греков были боги вина и веселья — Вакх и Дионис. А у нас вместо них — Фрейд, комплексы неполноценности и психоанализ, боязнь громких слов в любви и склонность к громким словам в политике».

Несколько лет назад вышла русскоязычная статья о том, как в США борются с домашним насилием. Ав-

тор — эмигрантка из России, с неопитским восхищением смакующая каждую деталь. Почти как в новелле Франца Кафки «В исправительной колонии».

Соединенные Штаты, славящиеся жесточайшей пенитенциарной системой, количеством заключенных и уровнем насилия в обществе, видятся измученной беженке из тоталитарной России образцом для подражания.

В статье описана вульгарная дичь, где семейные проблемы решаются в принудительных группах с психологом, оснащенным кнопкой вызова отряда вооруженных полицейских... на случай, если пациент продемонстрировал агрессию взглядом или словом.

После плясок Pussy Riot в Храме Христа Спасителя российский Интернет пестрел свирепыми фантазиями православных о том, что за подобный перформанс сделали бы с участницами в исламской стране. Вполне типично для тех, кто не может, — пугать теми, кто может.

Православного смирения добиваются распространением шариата, с насилием борются, повышая его градус и абсурд. Свободные и цивилизованные люди так отчаянно нуждаются в ведьмах, потому что костры с ними — почти единственное оставшееся развлечение. Луч света в темном царстве.

В 1998 году датчанин Томас Винтерберг снял фильм «Торжество» на популярную в то время тему педофилии. А спустя четырнадцать лет дополнил его не менее удачной «Охотой», в которой речь идет снова о педофиле, но уже как о социальном конструкте — жертве борьбы с растлением малолетних.

Когда общество объявляет кого-то врагом народа, немедленно объявляются несметные полчища жертв. Все вдруг превращаются в евреев, иммигрантов, сексуальные меньшинства, испорченных детей, избитых жен... Ведь всеобщая истерия это силовое поле, направляющее мысли обывателей в правильное русло.

Современная корректность велит адептам ощущать себя, казаться и быть именно жертвой. А нужный па-

лач всегда найдется. Тем более что после конца истории не так-то просто отличить страдальца от мучителя. Все очень пестро и динамично. Не чета темному средневековью, в кострах которого сжигали одних только ведьм.

Дополним максиму Ремарка сюрреалистическим теоретиком Андре Бретоном: «...Всякий знает, что сумасшедшие подвергаются изоляции лишь за небольшое число поступков, осуждаемых с точки зрения закона, и что, не совершая они этих поступков, на их свободу никто бы не посягнул».

Со времен написания «Манифеста сюрреализма» прошло почти сто лет. С тех пор многое изменилось. Не уверен, что нынешнее положение дел понравилось бы Бретону, однако теперь сумасшедших больше не изолируют от общества. Они прекрасно уживаются с другими социальными единицами.

Изолированы все остальные... И каждый по отдельности!..

6

— Встать! Вы все обвиняемые. Говорить с вами можно, лишь когда вы стоите, — эпатировал публику Франсис Пикабия.

Что ж, неказистый дада оказался более прозорлив, нежели глянцево-сюрреализм. И теперь каждый в своей собственной тюремной скорлупе. Как заключенный, тюремщик, обвинитель и потерпевший в одном лице. Изоляция в самом полном, буквальном и трагическом понимании.

40-й номер «Опустошителя» будет распространяться исключительно в пенитенциарных учреждениях России. Узники свободы и ее отсутствия познакомятся со своими коллегами, заключенными на страницах инверсивного издания. Ален де Бенуа, Дарья Дугина, Уилки Коллинз, Владимир Лорченков, Люсьен Рёбате и многие другие поделятся опытом изоляции от мира, людей, логоса и здравого смысла. Лучший коктейль для окончания лета 2023.

Станислав Курашев
СТО ТЫСЯЧ ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА

*Точно вор, который вынужден изю дня в день
грабить один и тот же дом, — думал Бильбо —
вот когда началось самое скучное,
самое тоскливое приключение...*

— Спокойно, Клаус, — говоришь ты мне, когда вдали появляется машина — редкий гость на этой заброшенной, проселочной дороге.

— Спокойно, — повторяешь ты, хоть я и не выказываю никаких признаков беспокойства, ты почему-то медлишь, но потом все-таки слезаешь с мотоцикла и, подняв руку, приказываешь водителю остановиться. Машина тормозит, за рулем довольно полный господин лет пятидесяти. Он явно удивлен.

— Какая странная форма, — говорит он, — это что — новый отдел дорожной полиции?

— Полевая жандармерия, — равнодушно отвечаешь ты, — обычная формальность, проверка документов.

— Какой странный автомобиль, — думаю я, сидя в коляске мотоцикла, а потом — что будет завтра? но что будет завтра? и еще — хорошо бы иметь сосновый гроб и любимую девушку, которая пришла бы и вбила бы мне в грудь осиновый кол...

Ты вдруг наклоняешься к машине, вглядываясь в сумрак салона, и я замечаю то, что ты увидел раньше меня, — на заднем сиденье еще кто-то есть.

— Какая милая фройлян, — говоришь ты, — это ваша дочь? Как тебя зовут, девочка? Может быть Марта или Грета?

Я удивляюсь, слыша это — чего ты вдруг вздумал беречь старые раны...

Девушка молчит.

— Штеффи, — растерянно отвечает толстяк, он впервые испугался. Он смотрит на меня, мы встречаемся глазами, и тут он замечает то, что не видно под твоим плащом — мою нарукавную повязку с древним каббалистическим символом.

— Вы что — неонацисты? — спрашивает он истерически.

— Не понимаю, — раздраженно отвечаешь ты, — что это значит?

Мы просто фашисты.

— Посмотри, Клаус, — обращаешься ты ко мне, — видел ты когда-нибудь такие документы?

Я отрицательно мотаю головой.

— Они что там совсем с ума в английской разведке посходили, или откуда ты там, боров? Не могут нормальный аусвайс своему агенту сделать? — говоришь ты, вытаскивая толстяка из машины.

— Какая разведка? — лепечет он, — я немец, я живу в Дрездене, я работаю в крупной страховой компании...

Ты бьешь его наотмашь по лицу.

— Дрезден разбомбили твои английские свиньи! Там только руины и пепел, там нечего страховать...

Из разбитого рта течет кровь, он смотрит на твой плащ, шмайсер на груди и вдруг начинает кричать.

— Вы сумасшедший! вы сумасшедший! вы сумасшедший!

— Может быть, — говоришь ты очень тихо, — может быть я и сумасшедший, если быть верным долгу и своей стране, значит сойти с ума, но вот ты, ты трус и предатель, когда страна на краю пропасти, когда гибнут мальчишки из гитлерюгенда...

Твой голос срывается, я вижу, что тебе плохо, ты болен, эта болезнь похожа на лихорадку, но это не лихорадка.

Я подхожу к машине и говорю.

— Займись предателем, а я посмотрю, что там с девочкой.

Ты смотришь на меня, словно бы не узнавая.

— Ее зовут Штеффи, — говорю я, — это не Марта, и не Гретхен...

Ты молчишь какое-то время, а потом уходишь вместе со стариком к лесу, такому же серому и тусклому, как этот день, как все эти дни...

Старик плачет и непрерывно что-то говорит, но вскоре все эти звуки заглушает короткая автоматная очередь.

Я открываю заднюю дверь машины и прежде чем взглянуть на нее, спрашиваю:

— Ты хочешь жить, Штеффи?

И когда я просыпаюсь в нашей землянке, от того что ты кричишь во сне (а ты всегда кричишь во сне), я подолгу смотрю на твое осунувшееся небритое лицо, ты успокаиваешься, только дышишь так же тяжело и веки дрожат, и иногда бормочешь — найн, найн... И мне почему-то иногда кажется, что все это когда-то было не так, что меня не всегда звали Клаус, и я гляжу то на осколок зеркала на стене, то на календарный листок со старой датой, мне холодно и грустно, я зеваю, но не хочу спать, потому что мне всегда снится пепел, а потом опять — пепел, а потом снова — пепел, и еще, и еще. И еще.

п р о з а

Вячеслав Молчанов

ДЕТИ

Весеннее ясное солнце пролилось по детской площадке, доверху заполнило рты радостью жизни. Распарившиеся в веселой беготне, словно проснувшиеся по ошибке от этого еще обманчивого тепла, дети издавали тысячи задорных звуков, лепили мокрые снежки, ползали, норовя подхватить друг друга за ногу и кубарем скатиться по останкам снежной горки. День замер, ленивой дремотой накрыл сидящих по скамейкам взрослых.

10

На одной из таких скамеек удобно развалились две мамочки. Подставив лица скупому теплу, они умудрялись греться одним лишь весенним предчувствием, смотреть за детьми и болтать.

— Знаешь, Юль, все-таки жить сейчас опасно. Распускать детей опасно, а надо. Никуда от этого не деться, — сказала Вика и грустно улыбнулась, — Надо дать жизнь. Что еще сделает женщину женщиной в полном смысле?

Наслаждаясь радостью материнства и праздной болтовней, мамочки поддерживали в себе нервную бдительность и не сводили с детской площадки глаз. И пока некоторые из детей барахтались в мокром снегу, другие барахтались еще только в утробе, доставляя мамочкам приятное неудобство.

— Ты знаешь, я согласна, конечно, но отчасти. Во-первых, я не считаю, что это прямо какое-то предназначение. Нет, скорее дополнение. Не только, скажем, карьеру сделать, женой там быть, но и стать матерью.

Такой бонус к самолюбию, к самореализации, понимаешь?

Юля нервно заерзала, на секунду потеряв Витьку из виду.

— Да вон он, с моими ползает. Из тоннеля одна голова торчит, — ухмыльнулась Вика. Вика привела гулять двойняшек и радовалась новому ребенку, поскольку он был один, да еще и мальчик. Юля, напротив, должна была вот-вот подарить Витьку крохотную сестренку.

— Ну и потом, — продолжила Юля, придя в себя после очередного материнского стресса, — Я не считаю, что растить детей сейчас так опасно. Ко всему привыкаешь. Иначе можно и в сумасшедший дом попасть, если только тревожиться. Надо уметь радоваться.

— Да как не тревожиться? Юля, ты новости вообще читаешь? А что вокруг делается? Сколько детей воруют, сколько педофилов развелось, — громкоголосая Вика при слове «педофил» как-то посерьезнела, оторвалась на миг от своих двойняшек, выделявшихся одинаковыми ярко-красными куртками, и перевела взгляд на сидевшего поодаль мужчину, — Вон, сама посмотри!

— Куда? — Юля удивленно распахнула ресницы и проследила за взглядом Вики, — Да брось. Ну сидит, мало ли. Может с ребенком пришел.

— Что-то я не видела, чтобы он с ребенком пришел. И ребенок этот мифический какой-то. Ни разу еще к нему не подошел. Как сидел один, так и сидит.

— Слушай, ну это паранойя уже у тебя. Да, сидит мужик. И что? Твои-то к тебе хоть раз подбежали? Да и пусть один пришел. Сидеть на скамейке — еще не преступление.

— Ага, это пока не преступление. А если он там шурудит всюю? — Вика прищурилась, но залитый солнцем темный силуэт сидел абсолютно неподвижно и, казалось, даже дремал.

— Спит, что ли, — сказала Вика, — Или подсматривает. Значит без детей пришел. Педофил. Точно.

Юля расхохоталась.

— Ну все, Вика, хорош, не смейся, — едва восстановив дыхание сказала Юля, — Я понимаю, мы вот в девяностые росли. Тогда да. Тогда опасность на каждом шагу. Шприцы, помню, в почтовом ящике лежали. И клей за гаражами. И холодно...

Минуту помолчали. Наконец, Вика не выдержала:

— Знаешь, ты Лиду помнишь?

— Какую еще Лиду? — Юля хотела посидеть в тишине.

— Ну эту, напротив в доме живет. У них девочка еще такая светленькая, в первый класс пошла вот.

— А... Ну да, и что с ней?

— С ней ничего. Ни с девочкой, в смысле, а с Лидой самой. С девочкой тоже, учится, все хорошо. Только Лида рассказала тут. Она же в детском саду работает. Сурдологическом.

— Каком-каком? — переспросила Юля.

— Сурдологическом. Для глухонемых деток. Так вот. Вышла она на днях вечером на прогулку с детьми. А одна воспитательница говорит ей, мол, последи за моими, я телефон в группе оставила. Вернулась, в общем. Заходит в группу, свет включает в игровой. Телефон взяла со стола, глаза подняла как-то ненароком и видит: в спальне мужик стоит в темноте. Неподвижно стоит и все. Она думала, может родитель чей, знаешь, подошла ближе. Вы, говорит, что здесь делаете? А он резко поворачивается. Глаза какие-то бычьи, большие. «А я нет, я ничего, вот, кровать поправлю сейчас и пойду». И резко так одеяло как-то дернул. И тут же из группы выбежал. На лестнице его тоже видели. И никто его не узнал. Вышел за территорию и пропал. Короче, не родитель это. А кто — никто не знает. Начальство в ментовку даже заявку не накатали. Втык дали всем, чтобы бдительнее были, а себя подставлять не хотят. Вот так. Нигде безопасности нет. Ни в государственных, ни в частных. В частных недоедают де-

ти. А мать не знает, работает с утра до ночи. Такие деньги несет, чтобы детки развивались. А тут так вообще проходной двор.

— Можно няню нанять, если деньги есть. У тебя Валера хорошо же зарабатывает. Сейчас камеры можно поставить. С телефона заходишь, смотришь, — Юле стало не по себе от собственных нелепых возражений. Она поежилась, нервно мотнула головой, будто пытается сбросить возникшую перед ней картину. Но неподвижный силуэт в темноте детской спальни никак не пропадал. Вика тоже как-то помрачнела:

— Знаешь, а ведь это специальный все-таки детский сад. Там режим особый. Дети в понедельник уходят и спать остаются, да причем только те, за кем маргиналы родители не пришли. Дети наркоманов, в основном. Алкашей всяких. Ты представь только. Ночь. Лежит глухонемой ребенок, который даже пищит с трудом, не чувствует громкости своего голоса. Такие дети часто звуки во сне издают. Они из-за глухоты развиваются с трудом, учатся говорить полжизни. И невралгия у каждого первого, отклонения у многих. Лежит такой мальчишка, никому не нужный, спит нервным болезненным сном. А существо это лежит под кроватью и ждет, когда ночная няня уснет или уйдет вовсе.

— Страшно, Вика, прекрати, — Юля судорожно зарыскала по детской площадке, и словно каким-то материнским якорем уцепилась взглядом за Витьку. Долго она не могла еще перевести дыхание. Вика грустно заметила:

— А домой няню тоже жутко. Придешь так, как-нибудь с работы, а она выходит на порог и говорит: в какой руке? В левой? Не угадала. В обеих. И за волосы две головы отрезанные из-за спины вытаскивает, будто велки капустные. На говорит, сама свой суп вари. Мать ведь одна способна двойняшек отличить. А тут на лицах такое застыло, такой детский крик, что ни разум, ни полные слез глаза не позволяют узнать ей собственных детей, иначе лишится она и глаз, и разума.

Юля оцепенела. То исчезала из виду вовсе, то вновь из-за горки мелькала Витина синяя шапочка. Глаза ее заслезились, но Вика, будто не видя этого, не унималась.

— А в Керчи... А как под «Кролика Питера» заживо дети сгорели... А у него ушки, лапки мягкие были, теплые...

— Замолчи! — вскрикнула Юля и проснулась.

— Ничего, ничего, подремли еще, я за твоим при-
смотрю, — сказала Вика, но задремать Юля больше не могла. Сердце неистово колотилось. Юля посмотрела в небо. словно под мерный грудной барабан напоздали и пожирали Солнце густые, опухшие от серого яда облака.

Так посидели они вдвоем еще какое-то время. Наконец, Вика позвала своих девочек, попрощалась и ушла. Похолодало, и постепенно дети и взрослые разошлись. Юля осталась в каком-то нелепом ступоре, пока возня на площадке не привлекла ее внимание. У подножия горки пыхтел Витя и еще какой-то паренек. Юля не могла разобрать, играют ли они так, или уже дерутся. Других детей на площадке не было, а из взрослых осталась только она, да тот одинокий мужчина.

«А, наверное, это и есть отец мальчика!» — Юля встала и пошла прямо к нему, в надежде заставить приструнить своего сына. Задираясь, мальчик с крика перешел на яростный рев. Услышав Витин плач и понимая, что до мужчины добежать ближе, Юля рванула к скамье. Мужчина вдруг посмотрел на нее своими какими-то бешеными, бычьими глазами, вытащил из штанов правую руку, вскочил и быстрым шагом удалился прочь. Юля замерла. Пот ледяной змейкой заструился по спине. Крик. Это кричит Витя. Второй мальчик схватил и сжал со всей силы его промежность. Юля рванула к ним, забыв про свой срок. Мальчик повалил Витю на землю, сел сверху. Одной рукой он сжал Витину глотку, другой сжал с силой Витины маленькие яички. Юля взвыла, запнулась на бегу о

торчавший из подтаявшего снега угол песочницы, больно рухнула на живот и застонала. Мальчик, сидевший на Вите, душивший глотку его и бивший уже кулачком в пах, обернулся. Позабыв тут же о всякой боли, в оцепенении Юля уставилась в его морщинистое лицо. Голос, будто проглоченный при падении, застрял где-то в распахнутой Юлиной глотке. Карлик тут же вскочил, пнул с силой Витину голову. Что-то хрустнуло под его маленьким ботинком. Витя перестал хрипеть, а карлик бросился прочь. Юля простонала ему вслед что-то несвязное. Перекошенное лицо ее затряслось, полилось с глазниц весенней каплей на талый снег. Витя неподвижно лежал. Закатное солнце распороло вечернее брюхо о даль горизонта, окропило багряным теплом томные облака, одинокие и спокойные на небесах.

Нелли Цымбаленко
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ

До поезда далеко, если ты в деревне и видишь в ожидании только голые шпалы впереди да позади себя. А вокруг — тишина и листва неслышно шевелится.

Сложно сейчас побыть одному и сосредоточиться, волнение сильно колет грудь. Хочется расслабиться, укрыться где-то до отправления, но не на этой голой станции из пары сгнивших досок да разбитого фонаря.

Решаю пройтись, времени много — что деревья за спиной сгущаются не пугает.

Прохладный ветерок как на подмогу появился. Так приятно позволить ему пощекотать твою шею и потребить волосы.

Вот и признаки деревенской жизни начинаются под ногами. На дороге — какие-то перышки, дощечки и прочий сор. Вот бы попроситься к кому-то, хотя бы у крылечка посидеть, посмотреть, как цыплята бегают возле сеней.

Вон впереди видна хата, огород, только будка пустая — собаки нет, значит, самому постучать можно.

Стучу — ни слова. Но слышу голоса идут из дома. Открываю дверь — сидят люди за столом и пьют. И меня зовут к себе, сажусь рядом.

— У меня от станции поезд через четыре часа. Не могу там ждать, тоска.

— Проходи, — говорит щуплый старик, который сидит поодаль, чуть в тени.

За столом еще тучная бабка, старая, она напротив меня. И рядом с ней кто-то тоже сидит, но, как и у старика, его лица толком не видно. У бабки на плечи

падают распушенные волосы. Она сидит в рыхлой ночнушке, такой же как и сама.

Все пьют водку из какой-то бадьи. Водка чистая, не мутная, просто зеркальная.

Бабка берет стопку, слегка отпивает, затем закусывает огурцом, а потом опрокидывает и всю стопку.

Я тоже пью. Водка очень хорошая, мягкая.

Идет время, мы выпиваем.

Прошу собутыльников узнать время и расписание сегодняшних поездов.

Дед достает замусоленную газету и сообщает мне, что мой поезд 10 минут назад отошел от станции.

Предлагаю еще выпить.

Бабка продолжает слегка отхлебывать, закусывать, а потом опрокидывать всю рюмку полностью.

Приятный прохладный воздух в хате успокаивает.

Водки меньше не становится.

Я уже никуда не опаздываю и не успеваю, поезд ушел. Опыянения я тоже не чувствую, хотя прикидываю, что выпито уже немало. Я как будто, напротив, трезвею. И понимаю, что наконец-то начинаю лучше видеть лица своих новых знакомых.

Напротив меня сидит моя покойная бабка, рядом — покойный дед. Кто-то еще есть напротив, но он пока в тени, хотя у меня есть прекрасное чувство, что я его тоже знаю.

Еще по одной, пожалуй.

Сажусь на свой поезд. В купе прохладно, хотя на улице духота. С утра *хмызил* дождь.

Как всегда на верхней полке. Хочу поскорее на нее взобраться, ни с кем не говорить, ничего не рассказывать и не слушать.

У меня уже начали слипаться веки, когда взвизгнула купейная дверь, и появились мои попутчики — два импозантных старика. Хотелось бы сказать, что они старички, но старички — это что-то приветливое и

уютное, домашнее, доброе. А эти сразу были дистанцированы от меня своей отчуждающей и обязывающей к определенному поведению эlegantностью, от которой сразу становится очень неловко, но которую ты и подчеркиваешь только своим вниманием и стеснением.

Они начинают располагаться в купе, старики смотрят вокруг так, словно ищут, над чем поглумиться. Каждое их движение громкое и чеканное.

Грохочут сумки, бутылки с водой. Я насчитываю четыре удара, два из которых, бутылки, звучали одновременно. Похоже на отменную работу могильщиков, каждый расправился со своим углом, они могли бы устроить вальс гвоздей — цинковый пляс на костях. Оркестр, закрепляя результат своей работы, играл бы все громче, раздражая, лишая сна и провоцируя меня на грубость.

Ехидное старичье адаптировалось на новом месте, отыграв всеми своими движениями дьявольскую какофонию.

На что они способны еще?

Однажды мне довелось ехать в одном купе с женщиной и двумя ее маленькими детьми.

Помешанная мамаша сразу превратила купе в утробу, в которой она продолжала возвращать своих чад.

Заставленное горшками, лишенное воздуха, все пространство вокруг рыгало, пердело и испражнялось, повинаясь самым естественным законам.

Дела с плацкартными вагонами, конечно, обстояли гораздо хуже.

Особенно, если у тебя оказывалось нижнее место. Возле которого тут же возникает какой-нибудь паскудный немощный взгляд, сразу извиняюще пялится, словно говорит тебе, что обязательно скоро что-то попросит.

Уступить нижнее место, закинуть сумку, опустить сумку, помочь достать белье, плед, расстелить постель, укрыть пледом с наступлением вечерней прохлады и,

разумеется, как можно быстрее задушить подушкой, провонявшей хлором.

Но этого не случится, все же постараюсь продержаться — не желаю разбазаривать свою злость на внешние обстоятельства, я ведь еду домой, а без подарочка являться нельзя.

Паскудное старичье думает обезоружить меня своими холеными пиджачками.

Поезд тронулся. Сразу же оживились и наполнились раздражающей жизнью все его закоулки. Дребезжали рельсы и резкие голоса проводников, разносящих чай в толстых стаканах, которые судорожно колотились о стены вычурных подставок.

Старики уселись друг против друга, синхронно поставив на колени свои пухлые сумки. Один из стариков достал сверток, напоминающий газету, а второй достал ручку.

Первый старик развернул сверток, и мне удалось увидеть, что он открыл газету, на странице которой был кроссворд.

Поворачиваюсь к стенке и пытаюсь уснуть.

— Чай! — проводник бессовестно протискивается в мой сон, чай он не предлагает и не спрашивает, хотим ли мы его, он о нем просто заявляет.

Старики косятся на проводника, переглядываются между собой, молчаливо и несколько насмешливо, затем ехидно скалятся и на несколько мгновений застывают в своих гримасах.

Невозмутимый проводник двигается дальше, заявляя о чае в других купе. Ненатурально натянутые мышцы стариков похожи на редкие и сложные потуги обессилившего калеки, который вдруг чему-то внезапно обрадовался. Калека с большим усердием шел к этому выражению лица, подобию улыбки, он не может позволить себе сразу его отпустить, он продолжает напирать и поддерживать радость — ведь все должны увидеть его достижение и зафиксировать это в своей памяти. Калека никогда не подозревает, что его гримаса есть глумление над происходящим и самой жиз-

нюю. Прикованный к своей постели болезнью — лучшие ремни безопасности, калека даже рад своему положению, он может ничего не решать и спать, сколько вздумается. А боль, или какие-то ее деформированные в этом теле формы, он может даже и не испытывать. Или испытывать равно как и здоровый человек может испытывать обычную усталость.

Засыпая пытаюсь вытянуть ноги, но они упираются в стену.

— Домок из шести досок. Четыре буквы. По вертикали.

— Гроб!

Голоса стариков звучат так, словно они два профессора, разводящие потеху над неподготовленным студентом.

Один старик скребет ручкой, другой смотрит, правильно ли записывается данный ответ.

— Г-ро-б, — чеканит он.

Смотрю вниз. Старик с правильным ответом наклоняется над кроссвордом, его острый нос нависает над ним так, словно он хочет отметить на карте только что открытые земли. На его оголенном черепе тоже можно ставить отметины, впрочем, они там уже есть. Это пятна, старческие пятна, которыми со временем почти у всех покрываются руки, ноги, шея, лицо. У этого старика ими покрыт гладкий череп. Вот его карта. Интересно, что будет вон с тем пятном, если на него плюнуть? Оно расплывется так же, как расплываются размытые водой чернила? Это изменит его прошлое?

Хочу присесть, но высота купе не позволяет этого сделать на верхнем месте. Расслабиться не удастся, наверху нельзя даже толком вытянуться.

Но спустя время мне все же удастся уснуть. И как назло я проваливаюсь в сонный паралич.

Время проходит, а ночная ведьма все также настойчива. Мне от нее никуда не деться, может, она образец постоянства и родства, и даже предлагает мне у нее чему-то научиться.

Валяешься, как оглушенный, в нелепых позах, смотришь по сторонам и не понимаешь, сколько проходит времени.

Не могу двигаться, чувствую резкую и неприятную боль в зубах, словно некий силач пытается стиснуть мои челюсти, он намерен остановиться только тогда, когда они раскрошатся.

Купе в холодном тумане, который обволакивает стариков и меня.

— Гроб, — глухо смеется старик, давший правильный ответ. Я слегка различаю его силуэт и скалящийся рот. Он размахивает рукой туман и повторяет правильные ответы.

Первая стоянка. Просыпаюсь в вагонной духоте. Старики, схватив свои пиджаки, шмыгнули на улицу. Каждый вернулся с пакетом. Они купили себе по курице.

В купе очень душно, это мешает спать, кожа покрывается неприятным потом и раздражением, зудящей потницей, тело пахнет серой и солью, чем-то болезненным. Так начинает пахнуть смерть, когда обнимает стариков, заключает их в свои земляные трупные объятия, от которых не спасает ни один парфюм, душ или тщательный выбор тканей в жаркий сезон.

Глаза закрываются, и я опять погружаюсь в оцепенение.

Надо мной вырисовываются тонкие фигуры, они рассматривают меня, размахивая плотный туман, что-то шепчут друг другу. Они сладко чавкают, и на мою простынь из их ртов капает жир.

Надо мной туда-сюда пролетают рулетки. Фигуры совещаются.

Просыпаюсь. Грудь невыносимо болит, как и все тело. Медленно спускаюсь к своим попутчикам.

— Присаживайтесь, — говорит один из них, сворачивая со стола газету с мелкими костями и грязными шкурками.

Выхожу из купе в коридор.

За окном уже начинает темнеть. Деревья проносятся мимо моих глаз так быстро, что постепенно превращаются в один широкий мазок. Это моя своеобразная медитация. В тамбуре спертый воздух, оставленный курильщиками запах раздражает и бьет по голове. Деревья несутся все быстрее, иногда ты можешь с радостью увидеть их очертания, понять, что это еще деревья, когда на темнеющем небе вырисовываются их ветки или верхушки. Представляю, как с каждой минутой лес становится все ниже, деревья словно наклоняются, горбятся и превращаются в людей, которые заматают полами своих длинных одежд оставшиеся позади следы.

— Далеко едете? — справа стоит средних лет человек, он вышел покурить, в одной руке у него пакет с табаком, в другой — бумага.

— Домой.

Пассажир по-отцовски усмехнулся.

Смотрю в окно: множество фигур подметают дороги пушистыми вениками.

— Что это они делают?

— Кто?

— ...уж так заведено... — голос одного из стариков обрывается, когда я возвращаюсь в купе, они молча на меня смотрят.

Засыпаю на своей полке.

Мы долго ехали до следующей станции. Мне невольно пришлось слушать, как старики оживленно говорили о ней.

Станция N. была похожа на торговый пяточок, на котором местные, помимо прочего, продавали обувь своего производства. Обувь была полностью ручной работы. И люди, которые ее делали, жили в маленькой деревне рядом. Это восхищало стариков.

Один из них сказал мне:

— Непременно примерьте что-то на станции N. Присмотрите себе новые туфли, местные там делают очень хорошую обувь.

Вдоль торгового пяточка, слева и справа, стояли продавцы, они держали в вытянутых вперед руках обувь, у кого-то у ног стояли клетки с кроликами.

Бесшумные кролики слегка подергивали своими носиками.

Однажды я спряталась внутри скотного двора, чтобы подсмотреть, как дед будет рубить кроликов. У нас был каркас старого холодильника, внутри которого хранили газовые баллоны. В тот день баллон увезли, и холодильная камера, освобожденная от своих внутреннихностей, послужила мне идеальным убежищем.

Я замороженно смотрела, как дед отрубает топором головы взрослых кроликов. Я не плакала, просто смотрела и не могла оторваться. К сожалению, я не могу полностью вспомнить свои ощущения.

Подобная сцена произошла чуть раньше, когда я с такой же замороженностью наблюдала за осыпающимся с отцовской сигареты пеплом, который прожигал его футболку. Зияющие дыры на футболке с покрасневшей кожей были похожи на окровавленные шеи обезглавленных кроликов.

... Это были необыкновенные башмачки. Невероятные башмачки Дороти, изумительные туфельки Золушки. Маленькие метафорки на коньячках, растопыренных, как сломанные пальцы, в разные стороны — неестественно и грубо. Продающие отрешенно кивали.

Я держалась на этих пришитых в разные стороны каблучках, пришитых так, чтобы на них и стоять толком не получалось. Но я сделала один шаг, следующий.

Алексей Николаев
ПАУКИ¹

Будет трудно вспомнить, какой из переломных моментов был самый переломный. Я запомнил паука, который спускался по щербатым кирпичам, пока я решил, сказать ей или не сказать. Мы расстались бы в любом случае, но этот паук, он был как темно-синий цвет неба, как огромный штрих глубокой краски.

Паук трактуется двояко. Реши я остаться, то она, словно муха, продолжала бы биться в липкой паутине не сказать даже лжи, все же была привязанность, многое нас связывало, так что нет, не лжи, а скорее гадкой слабости, выдавленных улыбок, мерзкого молчания, таких вещей, которые исподтишка высасывают радость из человека. Я решил уйти. Как паук — злой, посторонний на шумной улице, полз по стене незнамо куда, уползал.

А я, ну, я покатился. Я собрал нужные вещи в сумку, две пары носков, запасные трусы, толстый глянце-вый журнал. И ушел, чтобы идти по знакам без помех. Знаки составляли весь мой мир, а те, кто их оставлял, обещали невиданное, обещали выход. Сразу туда, сразу наверх. В обеспеченную любимым делом жизнь. Какое дело было любимое, думаю я нынче. Пожалуй, они сказали бы, какое.

Путь по знакам начинался с метро. На первых стадиях, но начнем с начала. Я спускался в метрополитен на ближайшей станции и искал операторов. Оператор — это такой специальный человек с заметным обликом, которого они посылают как ориентир. Когда я еще учился ходить по знакам, я шел то за одним, то за

¹ Глава из романа «Кафе “Спутник параноика”».

другим человеком, иногда вдоль одного квартала и даже не мог повернуть за угол. Тогда они послали женщину, которая, проходя мимо, сказала как бы в телефон: «Оператора слушай, но не всех же сразу!». Так я узнал, как они называются. Операторы.

Я садился в тот же вагон, что и оператор. Его могли поменять по пути, это очень тонкий нюанс. Если в вагон зашел новый оператор, то ехать дальше нужно с ним. Если его нет, то идти следом за первым, за кем ты пошел. Пропустить нового оператора — это ужас, это значит выйти не там, где нужно, а там, где не нужно, будет ад. Идти за оператором безопасно. Обычно он выглядит, как лучшая версия тебя, у него облик, какой ты хотел бы себе. Иногда это красивая девушка, за ней тоже удобно идти.

Оператор отпустит тебя в нужный момент, но лучше распознать самому, заранее ощутить лучшую точку разрыва. В этот момент начинается путь по знакам. Низшая ставка пути — чистое, морфиноподобное наслаждение, а в случае фиаско — унижение, боль и страх. Высшая ставка, если научиться ходить — прямая дорога вверх. Найдется комната, где периодически, очень редко, собираются все люди, которыми ты восхищаешься. Твоя задача отточить интуицию до такой степени, чтобы в нужный день и нужный час найти их, войти туда и стать одним из них.

Так что же делать? Весь мир состоит из знаков. Специально обученные люди, тончайшие интуиты, каким можешь стать и ты, составляют по знакам маршрут, от точки до точки. Вывески, витрины, автомобили, люди, наклейки, случайные предметы — все это ориентиры на пути. Но они не значат постоянно одно и то же. Правила пути меняются постоянно и это тоже нужно вовремя понять, обычно прямо на лету. Магазин бытовой техники ДАС в начале пути значит «Для Нас», то есть ты объявляешь, что стараешься для них. Но если ходить от ДАС до ДАС, то это уже подхалимаж, и ты обязательно увидишь у магазина омерзительные объедки или бездомного. Теперь ДАС — это

«День Любви Собачьей», а ты засрал маршрут своей лестью.

Нельзя в городе пройти хотя бы пятьсот метров, чтобы не увидеть какую-нибудь дрянь. Чтобы пройти мимо нее, нужно или дождаться оператора (его могут послать, если ты застрял) или опираться на более существенные знаки. Например, красивый автомобиль, или автомобиль с хорошими номерами. Отдельный разговор, какие номера хорошие [см. *примечание*]. Нужно смотреть на буквы и на цифры, цифры мнемонически означают буквы. Например, 6 — это «б», но иногда «ш», иногда «сикс», если надо составить предложение. Вариантов много.

Ищите знаки, ищите хорошие знаки. Если достаточно долго и правильно идти по пути, то можно спокойно пройти несколько плохих знаков или даже черных операторов (кривое зеркало), в этой ситуации они олицетворяют не вас, а других людей, иногда ваших знакомых, которые достойны жалости крепкого духом ходока. Путь не должен состоять только из положительных знаков, наградой за такой путь будет омерзительный тупик. Кто хочет жрать только сладкое на пути, увидит омерзительный тупик, от которого вся сладость станет горькой, если не сказать хуже.

Они сидят в диспетчерской и контролируют ваше движение через секретных операторов. Или через телефон. Я ходил ночью через окраины, по грязи и кустам, как раз когда бросил ее. Думаю все-таки, что в такие моменты они смотрят через телефон. Кстати, тот ночной путь был очень хороший, они дали мне его, чтобы успокоить после разрыва, и я действительно успокоился, только никак не мог выйти из магазина, где товары на полках содержали обещания моих будущих женщин. Сыр «Маасдам» к примеру, это «ма-ас-дам», то есть она, некая будущая она, которая ждет в конце хождения по путям, даст мне свою ass. Немного стесняюсь говорить об этом, но надо объяснить, какого рода поощрения и обещания они давали мне тогда.

По поводу словообразования. Чтобы понять значение слова на пути, нужно разложить его по слогам, иногда по буквам, иногда развернуть наоборот и снова по слогам, иногда используются английские значения слогов. В других случаях буквы содержат цифры. Это как расшифровывать номера автомобилей, только сложнее. Помню, как ломал голову над сложной комбинацией с двумя «о», и вдруг увидел на улице машину с номером, который раскодировался в песню: «О 414 ЕР», «Очи черные...» Это было неописуемо. Потом важен цвет букв, характер окружения, и, напомним, всегда значение знака может быть скорректировано оператором или посторонним предметом. Если про слова еще не надоело, то добавлю, что рекламные объявления можно и нужно читать также по вертикали, или без последнего слога, или, как вариант, ассоциировать слово с популярной песней. Иногда книгой, но они должны знать, что вы ее прочли. Для этого достаточно скачать книгу, купить ее банковской картой, или на крайний случай оставить на видном месте дома — они посмотрят по камере или изучат во время осмотра комнаты.

Первые пути были прекрасны. Как нож сквозь масло я прошел от метро до хостела, причем о хостеле этом я не знал, и не узнал бы никогда, потому что он был довольно неприметный и находился во дворе. Так они подарили мне заслуженный на тот момент отдых. А отдых был мне нужен, потому что впереди ждало множество путей, и это уже не была тренировка, я выбрал ходить по путям и собирался идти до конца, до заветного приза.

Сейчас пытаюсь вспомнить, когда я начал тренироваться. В 20**-м, наверное. К тому моменту я уже понял, что обо мне снимают фильмы и пишут книги. Что меня заметили, но предлагают нечто большее, чем вульгарную славу. Я войду в их круг, как равный среди равных. Но к этому нужно прийти органично, определенным образом настроить дух, отточить интуицию и вообще многое во мне переделать. Когда я в

первый раз встретил оператора — это была девушка — я побоялся за ней идти. И когда возле маленькой пивной я увидел роскошный автомобиль и водителя в костюме-тройке, я побоялся зайти внутрь. Хотя, вне всякого сомнения, там меня кто-то ждал. Тогда они поняли, что я еще не готов поверить в чудо, а главное, я сам это понял, через чудовищные муки стыда и раскаяния. Но выход был. Ходить по путям и верить беззаветно, не оглядываясь. И я окреп. Я проходил через подсобные помещения и черные лестницы торговых центров. Когда охранники ловили меня, я объяснял, что ищу своих друзей, или что ошибся дверью. Малодушничал, надо признаться. Я проходил в элитные фитнес-центры с невообразимыми бассейнами. Или это были спа. Кто знает. На пути места не так важны, важны знаки, которые ведут через них. Я готов был пойти куда угодно. Остановили бы меня двери полицейского участка? Нет, да они и не позволили бы мне делать по-настоящему опасные глупости. Хожение по путям — это испытание веры в чудо, это перебор тончайших нюансов воображения. Но я не смог освоить это искусство в совершенстве, мне не хватило таланта, чтобы достичь приза. И я начал сачковать. А это плохо, если вы встали на путь, если приняли их условия.

Основной причиной моего бунта стали пауки и голуби. Возникавшие из ниоткуда, они были слишком случайным элементом в сетке вариантов. Операторы не могли их контролировать, но пауки, вне сомнений, тоже были знаками. Первый паук, как я уже рассказывал, встретился мне в момент ключевого выбора. Затем, встречая паука, я понимал, что происходит что-то важное, причем они, там, в диспетчерской, не имели к этому отношения. Значит, в этих событиях участвовало и другое действующее лицо, некая высшая сила. И если эта сила вмешивалась в происходящее, она не считала мои действия правильными, а хождение по знакам не было необходимым. Таким образом знаки окружающего мира разделились на заданные в диспетчерской и посланные высшей силой.

Что скрывать, я возгордился от этого открытия. Мне не пришло тогда в голову, что хождение по знакам как раз оттачивало умение видеть знаки следующей ступени, знаки высшей силы. Я перестал слушать операторов и больше не вычислял стартовую точку с помощью определенных манипуляций с мобильным телефоном. Самодетельность и хождение по собственным маршрутам привели меня к весьма плачевному состоянию. Начнем с того, что без оглядки на диспетчерскую маршруты довольно быстро потеряли границы и положили свое начало возле порога моего дома. Учитывая, что диспетчерская продолжала следить за моей комнатой, ощущение заботы и безопасности пропало начисто. Меня пытались вернуть в контролируемое состояние, сначала уговорами, потом угрозами. Ко мне посылали самых ужасных операторов, я нигде не мог чувствовать себя в одиночестве. В поисках тихого угла мои маршруты стали хаотичными, а телефон почти всегда был выключен. Но хуже всего было то, что я не мог вернуться домой по правильным знакам, потому что они испортили их, все до единого. Если у меня не получилось найти оператора, за которым можно пройти до дома, я собирал все мыслимые оскорбления, всю мерзкую правду обо мне, о самых темных уголках моей души, в которой светлых уголков уже не было. Они все были повернуты ко мне самой оттапливающей гранью. Любой отдых был ленью, любой разговор унижением, и каждый шаг был шагом босиком по битому стеклу. Мне нечем было защититься. И однажды я не смог попасть домой.

Я шел дворами, заворачивая сложные крюки через каждый квартал. Я возвращался назад, будучи не в силах идти дальше. В конце концов я устался в небо и тихо застонал. Тогда я часто говорил вслух, чтобы через телефон довести до диспетчерской свое текущее состояние. Когда мне было хорошо, я пел, когда плохо, бормотал, ругался, извинялся. Теперь стонал. Потом пошел в ближайший психиатрический диспансер. Но поскольку я был из Ростова, а дело было в Волгограде,

возможен был только платный прием. К тому моменту никаких денег у меня давно не было, но все же эта неудачная попытка сдаться придала мне сил, как будто на голову вылился ушат холодной воды и вернул в реальность. В поисках работы пришлось вернуться в Ростов, но там как раз появились плакаты с надписью «Рекламное место сдается». Диспетчерская никогда не отпускает, если хоть раз с ней связался. Мне не хотелось быть рекламным местом, и я уехал в Петербург. У меня получилось найти работу. И я даже встретил девушку.

Все это время я не действовал совсем уж безоглядно. Иногда тихий голос говорил мне, что это какое-то безумие. Но голос был по одну сторону, а я был по другую, и между нами была толстая стена. Все, что тогда со мной происходило, было на третьем месте. На первом было хождение по знакам, на втором — поиск средств к существованию. Я очень быстро понял, что девушка была нанятой актрисой, которую подослали из диспетчерской, чтобы постоянно мучить меня намеками и издевками. Как будто мне мало было остального мира, в котором чуть ли не каждый кирпич означал, что я говно. Я потратил несколько месяцев, чтобы убедиться: ее сообщения в чатах прямо указывали — она знает, что со мной происходит в каждый конкретный момент. Она явно знала всех моих старых знакомых, которых знать не могла. Они, мои знакомые, уже давно помогали диспетчерской, насмехаясь надо мной, изгоем, с которым никто из диспетчерской никогда не пойдет на контакт. И они совещались в своем тайном чате, как бы еще поиздеваться надо мной.

Иногда мне хотелось схватить ее и закричать: «Как ты могла? Кем надо быть, чтобы поступать так с людьми? Ты же нравилась мне!» Но я терпел. Назовет меня психом, но тайны не раскроет.

В итоге я не выдержал. Ночью мы гуляли на одной из глухих и тихих петербургских набережных. Я достал из сумки кирпич и изо всех сил ударил ее по голове. Накрыв тело своим пальто. Потом принес из ближай-

шей заброшки еще кирпичей, засунул ей в одежду и толкнул в воду. Она все равно поплыла, но, видимо, довольно скоро утонула, раз меня не поймали. И не просто не поймали, весь мир, весь убивающий мою душу мир отшатнулся от меня, будто бы в ужасе, и не смел больше трогать. Сначала это напугало меня, я подумал вдруг, что никакой диспетчерской никогда не было, а я сошел с ума и просто убил человека. В этой ужасной трезвости я прожил несколько дней. Но со временем мир снова аккуратно подкрался ко мне, оставаясь, впрочем, на безопасном расстоянии, знаки перестали бросаться в глаза.

В диспетчерской не могли не знать об этом. Если меня не взяли сразу, значит то, что они делают, не связано с властями. И вообще незаконно, кстати. Они пытались корить меня, появлялись новые знаки, обвиняющие меня в убийстве. Но я изменился навсегда. Во всей моей жизни появилась твердая истина, которую они не могли ни извратить, ни отменить. Это они виноваты, а не я. Если бы меня оставили в покое, если бы не совершали таких мерзких подлостей, мне не пришлось бы защищаться.

Они долго придумывали решение. Наконец, знаки начали говорить, что они этого и добивались, что меня сначала сломали, а потом сделали убийцей. Мне было, что ответить им: об искренней вере, о безоглядной преданности, которую они оплевали, а главное, что новое обвинение уж слишком долго вызревало. Теперь я не верил им. Я мог защищаться, но по-прежнему был в осаде. Кольцо сжималось все теснее. Не страшно. Теперь я знал, что принесет мне облегчение. Теперь я слушал только высшую силу.

Примечание

Исписанный с двух сторон тетрадный листок, обнаруженный в квартире потерпевшего.

Краткий числовик. Принципы расшифровки действительности с примерами.

0 — Ничего. Означает средний результат с негативной окраской. Обычно используется в качестве точки. Буква: о.

1 — Сначала всегда я. Я — последняя буква в алфавите. Один в значении одинокий, жалкий, никому не нужный. По-отдельности используется для наказания. Буквы: и, а, л, я.

2 — Один в значении самодостаточный. Используется для награждения. Буква: д, т.

3 — Самая эротическая цифра, подразумевает групповой секс с двумя девушками, но не означает его прямо, а только возбуждает воображение и предназначена именно для этого. Используется для награждения и в качестве стимула. Буквы: з, е.

4 — Перевернутый стул. Обозначает неуместный отдых на пути, лень, нерешительность. Может использоваться для умаления наградных цифр, указывая на их вторичный характер относительно требований операторской. Буквы: ч, г, п.

5 — По значению ближе всего к нулю, обозначает средний результат с положительной окраской. Буква: с.

6 — Толстяк, глупец, грубиян. Чаще всего имеет негативный окрас, но в отдельных ситуациях положительный, н-р «65» — «повел себя по-мужски». Буквы: ш, б.

7 — Идеальная девушка. Присутствие в числе означает послание от лица идеальной девушки, которая вынуждена ждать тебя, пока ты не выполнишь все испытания. Стоящее рядом число определяет, насколько ты ее достоин по результатам текущего испытания. Н-р «17» — не тянешь, «57» — тянешь, «7» — она так и ос-

танется одна, потому что ты слишком нерешителен. Буква, как ни странно, г.

8 — Идеальная пара. Единственная цифра с безусловно положительным окрасом, которая положительно окрашивает все число. Буква: в.

9 — Ум. Обозначает правильный, но слишком рациональный, слишком обдуманный результат. В негативном ключе может маркировать читателя как ботаника в негативном смысле слова. Буква: д.

Рассматриваются как таблички с адресами, так и номера приметных по каким-то причинам автомобилей. Разберем пример:

У716ОН

Негативная трактовка.

Сначала надо читать число, это менее очевидная, а значит, более значительная тайнопись.

Число 716 из-за единицы скорее расценивается как негативное (по сравнению с ней ты одинокий внутри быдлан), но, в целом, не худший вариант. Читается как ГИБ. Если слово не образуется, его следует развернуть. БИГ — т.е. «большой».

«У...ОН» — НОУ, т.е. «нет».

«Не большой». Очень обидный автомобильный номер.

Позитивная трактовка.

716 — семь + я + это по-мужски.

У — можно расценить как обозначение читателя. Получается У — Он.

Итого: Семья — это по-мужски. Ты — мужик.

Какую трактовку использовать вы поймете без подсказки. Вы сами знаете, хорошо ли справились. Себя не обманешь.

Мобильные номера целиком не разбираются, но имеют значение последние 3-4 цифры номера. Характер полученного в мессенджере сообщения определяется временем, в которое оно было отправлено. Цифры разбираются согласно руководству.

ниже следует карикатурное изображение усатого мужчины в пестром жилете и с мешком в руках

С текстом ознакомлен:

Ф.И.О. _____

Подпись: _____

Андрей Ладога ЗУБЫ ТЕХНОРУКА ДУДКО

Это случилось утром, в четверг. Передний зуб на нижней челюсти долго подрастал над уровнем других зубов, и, поднатужившись, вылез, наконец, наружу. Сморщившись, Дудко несмелым, но напряженным языком отслюнявил зуб от десны и хладнокровно его осмотрел. Освобожденный зуб на вид был вполне целый. «Ты был мной почти пятьдесят лет...», — подумал Дудко, бросая зуб в мусорное ведро. Не было ни грусти, ни сожаления.

Зубы стали разрушаться несколько лет назад, но Дудко по-мужски трусливо решил: «Начнут выпадать передние, тогда и пойду к врачу, а пока...» Сначала он ел на левой стороне, но вскоре тектонически треснул коренной левый, и, лишенный выбора, Дудко стал жевать на правой стороне, правосторонний коренной держался, несмотря на выпавшую пломбу. Дудко с особенным — щадящим и трепетным старанием чистил зубы. С помощью языка он вел кропотливый учет всем болезненным изменениям во рту. Дудко выучился бриться, не разжимая губ. Он стал практиковать разговор на расстоянии, особенно не разевая рот. Стальной швейной иглой, закрыв глаза, на ощупь, он скалывал кусочки зубного камня с зубов нижней челюсти. Дудко длил зубную агонию как мог, но в незаметный роковой промельк передний зуб выпал.

Задолго до этого Дудко снились кошмарные сны о том, как он на совещании раскрывает рот и зубы выпадают один за другим. Или он пьет утром кофе и на дне чашки обнаруживает почерневшие зубы. И вот сны стали явью.

Дудко нашел марлевую маску, оставшуюся от пандемии, и подумал: «Есть два плюса: теперь можно реже бриться, и во-первых — не видно сгнивших зубов». Впрочем, обнаружив несколько лет назад темное пятнышко на переднем нижнем зубе, он больше не заглядывал себе в рот, решив так: «Пусть дантист рассматривает».

Дальше откладывать неприятное дело было бессмысленно и Дудко записался на прием в ближайшую стоматологическую клинику.

Доктор неприятно трогал сильными пальцами оставшиеся зубы, распространяя вглубь Дудко медицинский запах резиновых перчаток, беззастенчиво запускал в рот пациента хищно утонченные заостренные инструменты, скептически, и, одновременно, радостно похрюкивал и кивал сам себе, завидно согласный с собой.

«Деньги считает», — неприязненно решил Дудко.

Врач сказал, что именно надо сделать, затем торжественно огласил приговорную цифру, оказавшуюся эшафотной. Технорук внутренне содрогнулся. Это было целое состояние. У него не просто не было таких денег, у Дудко не было смелости хотя бы мысленно представить эту сумму.

— Это приблизительный расчет, — веско сказал дантист, делая покойнирко-синими перчаточными руками многое обобщающие округлые жесты, — медицина — наука примерная, и скорее всего, эта сумма увеличится.

«Увеличится?», — глядя в бесконечный потолок, Дудко согласно закивал.

— И деньги нужны наличные, — звонко сняв перчатки, доктор стал заполнять зашелестевшие деньгами бумаги, — а для разгона вам надо сделать объемный снимок, это рядом, на Омской, впрочем, в Кургане все рядом.

На следующий день Дудко «разгонно» посетил казематный кабинет на Омской улице, где ему помогла стеснительная девушка тростникового вида. «Не мой

тип, — думал Дудко, — девушка без женственных выпуклостей не вызывает доверия, определенные объемы тела и мыслей необходимы».

Технорук надел тяжелый свинцовый жилет, затем, осторожно сжимая зубами какой-то пластмассовый отросток, Дудко жмурился, в то время как над его головой, угрожающе мигая непонятным, медленно вращалась таинственная полусфера.

Худенькая девушка сидела в соседней комнате. Дудко услышал ее напряженный голос:

— Не получилось... Сожмите челюсти сильнее, и не бойтесь... мужчины такие нерешительные... все равно большинство ваших зубов удалят. Еще раз.

Лязгая остатками зубов, Дудко нервно сжал челюсти. Неприятная процедура повторилась.

— Оставляем второе исследование — казенно сказала девушка.

«Бог иногда есть», — подумал технорук.

Через день, вооруженный личным патологоанатомическим снимком, Дудко посетил еще одну клинику. Сумма увеличилась в полтора наличных раза.

«Вероятно, снимок показал дополнительные расходы», — решил Дудко и пал духом, он не понимал, где он возьмет эти деньги. «Кредит под только что выкупленную квартиру? Но это бред! Где квартира, а где зубы?!»

По дороге домой, в канцелярском магазине «Вещное», он купил школьную тетрадь и пару простых карандашей. Отчего-то карандаши представлялись более солидными, чем легкомысленные шариковые ручки. Рассчитываясь за покупки, Дудко думал над словами доктора, прощаясь, тот сказал: «И не затягивайте с лечением, помните, у каждого врача, даже у дантиста, есть свое персональное кладбище».

Дома Дудко сделал чай с лимоном, раскрыл тетрадь и столбиком стал складывать цифры. «Цифры — это самое надежное. Цифры отвечают на все вопросы, кроме одного. Вот это — мои хилые сбережения. Дуррак, надо было больше откладывать, ведь в последнее

время были же квартальные премии. Сам ты дурак! Как откладывать, когда я вносил за квартиру?! Ладно. Примерно это я могу попросить у матери. Плюс. Это попрошу у начальника, в счет возможной премии или из «кассы взаимопомощи», все-таки я — технический руководитель отдела силовых установок нашего хладокомбината. Плюс. Вот это можно попросить взаймы у Петровича. Плюс».

Пару лет назад Дудко выручил Петровича, дав взаймы деньги на новую лодку для рыбалки, правда, Петрович возвращал «кровавыми» частями и долго, и было непонятно, какой из процессов, получение или возврат, более врезался в Петровичеву память.

Дудко вздохнул. Он вспомнил, что ему говорил отец: «Считай только те деньги, что у тебя в кармане». Своих денег «в кармане» было мало.

Назавтра Дудко сходил в третью по счету клинику. Там его неожиданно обнадежили. Удаление останков умерших зубов и два протеза обходились уже в половину «состояния».

— Сколько времени не были у врача?

Думая о странной привычке стоматологов разговаривать с пациентом, когда тот, освещенный лампами Н.К.В.Д., в полуобмороке лежит в пыточном кресле с распахнутым настежь ртом, Дудко повеселел.

— Лет сорок, — Дудко вспомнил толстую тетю-врача, которая, наваливаясь пуховой подушечной грудью, лечила ему зубы в пятом классе, дыша в его застывшее окаменевшее лицо нечистой часто пульсирующей одышкой. Инквизиторские звуки металла о стекло, потусторонние запахи жженой кости, зуд бор-машины в затылке — панический ужас советского детства.

Затем доктор с пугающими паузами стал расспрашивать о головных болях Дудко. — «Мигрени? Боли в отдельной. Части головы?» — «Нет, не болит» — «Это связано с. Зубами. В лобной доле. Переплетены множество окончаний, при болезни зубов. Это влияет на

головную. Боль!» Скоро Дудко понял, зубы — главная составляющая головы...

С писающим звуком пустив воду в умывальнике, доктор неопределенно и негромко вздохнул. Дудко только сейчас увидел в отражении зеркала печеные нездоровые щеки врача. Стоматолог перехватил его взгляд и нахмурился.

— Это давление, а не то, что вы подумали.

— Я ничего не подумал, — «умный», подумал Дудко.

— Рубли наличные, — сказал умный доктор, — других не берем.

— Я так и подумал, — мысленно технорук уже выbral доктора с печеночными щеками.

Вечером Дудко позвонил матери, но мать странно поговорила с ним, в том смысле, что она конечно поохала и посочувствовала, но тут же твердо добавила, мои деньги — на мои похороны, мол, выкручивайся сам, чай не маленький, пятьдесят лет скоро.

Дудко раскрыл тетрадь с зубовными цифрами, обвел цифру матери кружочком и рядом нарисовал знак вопроса. Затем он позвонил Петровичу. Радостный Петрович тут же замялся, когда понял, о чем идет речь и живо перевел разговор на карасей, что он наловил на озере Аракуль.

— Хочешь, тебе привезу!? Вот такие караси! В руку моей Глафиры.

Глафира была жена Петровича. Крупная, языкая женщина с широким тяжелым задом. Петрович, да и Дудко побаивались Глафиру.

Нет, Дудко не хотел карасей. Ясное дело, Петрович больше запомнил возврат долга. Кроме того, выяснилось, что Петровичу надо срочно выдавать внезапно забеременевшую дочку замуж, и...

— ...сам понимаешь, нужны деньги!

Да, Дудко понял. Цифру Петровича он тоже обвел кружочком. Затем сложил цифры матери и Петровича и приписал их к цифре, что он намеревался попросить у начальства родного хладокомбината, получилось много. У директора было замысловатое имя, а именно:

Семен Адольфович. И подходящая для директора хладокомбината фамилия — Тонус. Он был небольшого роста, лысый, склонный к постоянной меланхолии, которую иногда, как будто бы что-то компенсируя, прорывала неумная буря эмоций. Эти мгновения были известны среди подчиненных как «истерика Адольфовича». Вспомнив эти вспышки беспричинного гнева шефа, Дудко подумал: «В крайнем случае, продам аудиосистему, телевизор, холодильник и стиральную машину». Технорук прикинул самую скромную сумму выручки за проданную бытовую технику, получилось хорошо. Не так, чтобы много, но и не мало.

«Так и сделаю», — успокаивал себя Дудко.

При всем своем нынешнем несчастье, технорук не перестал мечтать о знакомстве с какой-нибудь покладистой девушкой, хотя в последние годы — из-за зубов — он стеснялся общаться с прекрасным полом. Он думал об этом спокойно: «Ничего, наверстаю!» Это было не упущенное, но отложенное дело. Дудко твердо знал, оставшиеся годы жизни будут долгими, и, главное, самыми важными в его судьбе. «Лет двадцать у меня еще есть, а за это время можно родить и воспитать сына».

Именно о девушках, не о женщинах, технорук мечтал каждый вечер, перед сном. Дудко не думал ни о производственных делах, ни об отношениях с матерью, ни о бытовых заботах, то есть он думал и об этом, но главным были девушки.

Совсем недавно Дудко счастливо внес последний взнос за однокомнатную квартиру, на радостях купил мягкую мебель, телевизор, холодильник и стиральную машину. Кроме необходимого, потратился на прихоть — отличную аудиосистему с «коренным» проигрывателем лазерных дисков, мечта бедной безотцовской юности. Словом, технорук готов был встретить свою девушку «для серьезных отношений», но тут выпал зуб.

Утром он решил не откладывать неприятный разговор с Тонусом. Записался на неотложную встречу «личного характера», и в назначенный час его вызвали по селекторной связи. Он сел за стол, напротив шефа,

демонстративно снял маску, коротко сказал, что нужно.

— Ты что же думаешь, — с неприличным любопытством разглядывая Дудко, Адольфович стал медленно возвышать голос, — предприятие тебе — дойная корова двойного вымени? Сегодня квартира, завтра мебель, послезавтра зубы?!

Вздохнув, Дудко закрыл глаза. Он не мог осознать строй замысловатых слов про «дойную корову двойного вымени». Из двух вариантов: «гитлеровская истерика» или спокойный разговор, Семен Адольфович, кажется, выбрал первое.

— Я погасил кредит за квартиру, — сказал Дудко, — мебель я купил на свои деньги.

— Ну да, — задумчиво согласился Тонус, по всей видимости, передумав изображать истерику, — без зубов тебе ходить тоже негоже. Ты же все же технический руководитель.

— Вот именно, — Дудко надел маску.

— Деньги я тебе выделю, но не сейчас и частями. Все запишем на твой счет, и будем удерживать из зарплаты, процентов... — Адольфович взял вопросительную паузу.

— Тридцать. И мне необходимы отгулы для лечения.

— Тридцать процентов будем списывать из твоей зарплаты. И отгулы. Договорились.

Испытывая чувство облегчения, технорук спешно вышел из кабинета. Разговор прошел и гаже, но и глаже, чем предполагал Дудко. «Завтра же иду к дешевому печеночному пыточному доктору».

Этим же вечером Дудко снял все деньги, что были в Сбербанке и утром следующего дня записался на прием к врачу-стоматологу с печеночными щеками.

Начался изнуряющий процесс лечения. Удаляли по два зуба «за сеанс». В районе тринадцатого зуба позвонила мать.

— Сын, забирай мои похоронные деньги, я пока умирать не собираюсь, — сказала она, — потом как-

нибудь помру, позже. Так и ты, чай, не под забором меня кинешь, похоронишь по-человечьи.

Он шепеляво поблагодарил мать. Подумал: «Не надо будет продавать телевизор, аудиосистему и холодильник со стиральной машиной. Отлично!»

— Мамуля, я все верну.

— Ладно, мы же с тобой родственники, — вздохнула мать.

В субботу незвано приехал Петрович с Глафирой. Петрович привез окуней, Глафира, демонстративно засучив рукава, стала хмуро готовить уху. Петрович охотно вел разговор за троих, Дудко надел маску, без зубов было неловко.

— Выкрутился? И хорошо, — твердил Петрович, — мы, русские, чем характерны? Выкручиваемся!

— Точно, — отозвалась из кухни чуткая Глафира, — мы как белье, крути нас куда хочешь, выжимай нас сухо, до капли.

«Какое счастье, — радовался Дудко, — что все ненужное имеет конец». Так и вышло, уха была сварена, пустые разговоры бесследно ушли в кухонную раковину. Дудко с облегчением закрыл дверь за «татарскими», но, по-своему добрыми гостями, отмечая попутно, что откупная кастрюля ухи призывно благоухала.

«Главное в жизни, научить убеждать себя, — думал Дудко, поедая вкусную уху, — остальное пустяки. Все люди делятся на тех, кому ничего не надо объяснять, и на тех, кому объяснять бесполезно».

В постели он привычно думал о девушке, превращая мимолетно увиденный на улице или в транспорте случайный образ в ночные божественно-инфернальные пикантности. Взвешивая бытовое слово «голая», парадное «обнаженная» и нейтральное «раздетая», он выбирал «голая». Еще он думал над тем, что для юности нет слова «порнография». Напряженное бедро, занесенное над бортом ванной, напоенной океанскими ароматами; ускользающая мыльная грудь с твердым ориентиром соска и главный золоторунный

треугольный приз — засыпая, технорук отчетливо видел всё это.

Дудко мысленно касался девушки, разнообразил её чувственные позы, напряженно удивляясь новациям положений рук и ног. Эти грёзные упражнения с податливым телом девушки перебарывали выматывающие подробности реальности. Под утро ему приснилось откровенное, девичье: «У меня там треугольник, но я могу сделать полосу, ты что предпочитаешь?» Дудко хватило этого сонного эпизода на весь его гнусный «зубной период».

В воскресенье он съездил к матери и забрал ее деньги. Было неловко, но он забрал.

— Ты не волнуйся, я верну.

— Я не волнуюсь.

Мать была сухой строгой «женщиной семидесяти лет», сумевшей сохранить к финалу жизни некоторое благородство. Слов «пожилая», «пенсионерка», «старуха» и даже «старушка», она не любила. После смерти отца она стала рассудительно спокойной и при этом энергичной, проверяя все свои решения здравым смыслом. Сына она учила одному: «Умей отвечать за себя». И добавляла: «Тогда и мне поможешь». Отвечая за себя, Дудко записался в секцию бокса, и научился держать удар и отвечать буквально, кулаками, — это пригодилось в армии. После армии он закончил техникум, затем машиностроительный институт, последние десять лет был техническим руководителем хладокомбината родного Кургана. «И при этом, — думал Дудко, — сейчас я занимаю деньги у пожилой матери. Как так получилось? Квартира...»

— В жизни всякое бывает, — оправдывая, мать читала его мысли, — твое самолюбие позволит тебе выпить со мной чай?

— Мать, ты настоящий друг!

— Матери придуманы еще и для того, чтобы иногда занимать деньги своим взрослым сыновьям.

Маета с вырыванием гнилых зубов, заживлением, слепками челюстей и изготовлением протезов длилась

два месяца. Самыми мучительными были недели после удаления всех нездоровых зубов, когда болезненно заживали десны. Эти дни Дудко не выходил из дома без анальгина.

На работе все было по-прежнему, все знали о его проблемах, и не обращали внимания на маску, что не снимал Дудко. Он ел обезболивающие таблетки, тертые яблоки, кашу и бульоны. При этом технорук думал не о «частичном отмирании тела», но о новой жизни.

— Есть природные идиоты, — говорила мать, — а ты природный оптимист, оба эти состояния едины надеждой, а это плохо.

Дудко пожимал плечами, имея в виду многие смыслы на выбор.

Когда наконец стали примерять протезы, он думал о том, как он скажет об этом своей будущей девушке? Протезы мешали, особенно нижний, начался занудный процесс подгонки. «Ничего, привыкну, я, к сожалению, не первый, но и, к счастью, не последний, — думал Дудко, — так как же? Она полезет языком мне в рот, а там все это? А как целоваться?»

Он не находил ответа. «Ладно, все решится как всегда, то есть — само собой». Вероятно, это и будет мое объяснение в любви. «Ты знаешь, у меня протезы. Выйдешь за меня?»

Дудко заплатил за зубы, вышло больше того, на что он рассчитывал. Он продал свою бытовую технику и вернул деньги матери. Остался большой долг перед хладокомбинатом, но эти деньги списывались из его зарплаты. Дудко подсчитал, он будет оплачивать свое лечение почти год. «Ничего, проживу, буду еще стройнее и еще красивее, много есть вредно».

После примерки протезов, он с холодным вниманием улыбнулся сам себе в зеркало. Его рот был заселен белыми ровными зубами, ощущения были сильными, из зеркала на него смотрела его обновленная жизнь. С новыми зубами Дудко выглядел лет на сорок. Это была хоть и относительная, и зловещая, но молодость. Зубы были как настоящие, и это было чистым и беспримес-

ным счастьем. Дудко попробовал бутерброд — хлеб с колбасой. Впервые за долгие годы, он не отламывал кусок, а кусал бутерброд. Ощущение полноты бытия усилилось.

«Какое-то время надо жить особенно осторожно, чтобы беда не уравнивала новые зубы, а то, мало ли? Болезнь матери. Или самолет со мной упадет», — думал Дудко. Последний раз он летал на самолете лет двадцать назад.

Этим же вечером, отмечая блестящую новизну зубов, технорук решил «выйти в люди» и посетить кафе-бар Nавана, что находился в старом особняке на улице Гоголя.

«Может быть, познакомлюсь с кем-нибудь?» Дудко знакомился с девушками просто, он всегда говорил правду. Покоренные его искренностью девушки, оставшиеся рядом с ним, и были настоящими, так думал Дудко.

В баре, сидя за стойкой, он заказал салат с креветками и порцию daiquiri. Слушая негромкую Bossa Nova, вечную вещь Garota de Ipanema, он с удовольствием пил коктейль и закусывал креветками, осторожно пробуя возможности новеньких зубов. Казалось, протезы работали идеально. Под потолком реял дух Эрнеста Хемингуэя. Дудко хотелось все время улыбаться и в потолок, и без повода.

«Вещное, — думал Дудко, — вот когда я это разгадал, соединив “вечное” и “вещь”».

Скрывая улыбку, наслаждаясь, Дудко прикрыл глаза и тут же почувствовал, рядом с ним уютилась девушка. Всё было, как должно было быть. Какое-то время они молчали.

— Здесь замечательный коктейль и салат с креветками, — спокойно сказал он, глядя перед собой, — хотите?

Пыльность «книжных» слов Дудко окропил свежей сдержанностью интонации. Он был готов и к победе, и к поражению. Дудко загадал, если будет красивая, все у нас будет хорошо.

— А давайте, — сказала девушка, отвечая ему его же спокойствием.

Он оценил эту заглавную «А», которую треугольно подпирали решимость, масштаб и готовность к практичным авантюрам. Дудко повернулся к своей соседке и раздвинул губы в улыбке — девушка была хорошенькой, со временем она обещала быть и красивой. Она улыбнулась в ответ. Этим зубам было двадцать четыре... может быть, двадцать пять лет.

Ни улыбки, ни коктейли, ни салаты, не обязывали их ни к чему, они оба понимали это, хотя он тут же представил ее раздетой. Фактурная фигура фигуристки — получилось совсем неплохо. Но пока что на ней было черное, облегающее всё женственное платье, богатые черные волосы были скручены в тугой шиньон. От девушки исходил тонкий оттепельный аромат сирени шестидесятых годов, и, при любых обстоятельствах, до второго с половиной утра она была «годная».

Дудко заказал для нее коктейль и салат. Через пять минут девушка и Дудко заняли освободившийся столик рядом с дверью, еще через пять минут, интуитивно расшифровав свое впечатление от нее, со сладким сожалением, подкрепленным вкусом лайма, он понял, — увы! — она не его. Или он не её? Этой Дарине — вот странное имя — он не смог бы сказать: «У меня протезы. Выйдешь за меня?»

Они говорили о каком-то режиссере — Гайверонском? — что предложил Дарине роль в спектакле местной труппы Курганской драмы. «Сложносочиненная фамилия, есть что-то итальянское, от Вероны, что-то венерическое и вронско-толстовское», — улыбнулся про себя Дудко. — «Вы актриса?» — «Я журналистка, но я, вероятно, очень понравилась режиссеру» — «И?» — «Конечно, я отказала!» — «Вы брали у него интервью?» — «Именно!» — «Что вас поразило в режиссере больше всего?» — «Его сандалии! Совершенно плебейского вида!» — «И поэтому...» — «И поэтому я отказал ему, и, кстати, во всех смыслах!» — «Он домогался вас?» — «Чуть-чуть! Как все мужчины!»

Дудко взвесил, и все же решил высказаться: «Одна девушка однажды задала мне вопрос: «У меня там треугольник, но я могу сделать полоску, ты что предпочитаешь?» Это к вопросу о том, кто кого домогается»

Дарина преувеличенно смеялась, намекая на то, что «конечно, я не такая», но и «такая» — но «чуть-чуть» — тоже. Дудко широко улыбался в ответ, сейчас он мог себе это позволить. При этом он думал: «Даже под платьем бледная Дарина никому не нужна». Именно в это мгновение, на крохотной «а» в «не нужна», он отчетливо понял, все пойдет не так, он ошибся.

— Что же это такое?! Тебя на минуту нельзя оставить!

Технорук услышал за спиной развязный голос с интонацией «приглашения на казнь драки», и, ощутив на плече тяжелую руку, встал на ноги, одновременно отодвигая свой стул за спину и поворачиваясь всем корпусом к потенциальному противнику. Дудко терпеть не мог прикосновения мужчин, доктора не были исключением. Краем глаза он увидел, как вскочила бледная девушка, он увидел, как округлились ее глаза и беззвучно, и неприлично раскрылся её рот. Дудко казалось, что он все сделал быстро, но это было не так. Он пропустил удар в челюсть. Удар был сильный, а главное, точный. Технорук не успел увернуться, но удержался на ногах, помогла дверь. В голове мелькнуло ненужное: «Ты не технорук, ты безрук!» И еще: «Я стал часто ошибаться. Может быть, я и по поводу Дарины ошибся?»

Дудко ударился плечом о косяк двери. Технорук не ощутил боли, он почувствовал, что нижний протез его, царапая язык и распарывая десну, сместился и лопнул точно посередине. В левой руке мужчины Дудко увидел черную изящную сумочку, надо полагать, это была сумочка Дарины.

«Где-то я передразнил судьбу, нарушил баланс худого и хорошего, — подумал технорук, улыбаясь ртом, наполненным кровью и фрагментами изуродованного зубного протеза, — но где?»

Его противник, коренастый жилистый человек, из-готовился к новому удару, но Дудко уже был мобилизован к решающему мгновению. И жилистый коренастый человек, под обрывающийся женский визг, разламывая соседний столик, обрушился как подкошенный от сокрушительного прямого удара правой точно в переносицу. В секции бокса, куда ходил Дудко, такой удар называли «пушкой». Подброшенная сумочка Дарины исчезла в сумерках потолка. «Зачем Хемингуэю женская сумочка?» — глуповато подумал технорук.

Дудко подставил ладонь и с трудом, с помощью распухшего онемевшего языка, вытолкал изо рта окровавленные останки протеза. Технорук медленно сжал пальцы, отбитая правая рука ничего не чувствовала. Дудко сел на ближайший стул, глубоко вздохнул, закрыл глаза и услышал шелестящие бесполье как у ангелов голоса.

— Не шевелится...

— Вызовите «скорую»...

— Кажется, ему сломали нос...

— ...и полицию!

— Кажется, ему сломали лицо...

«Ничего, — подумал Дудко, — если выживет, заплатит».

Осторожная суета вокруг ощущалась как подготовка перехода в другой мир.

«Новый протез, новая девушка, новые рационализаторские предложения, а это...» — почувствовав взгляд, технорук открыл глаза. Замерев, на Дудко возторженно смотрела Дарина. В руках Дарина держала черную изящную сумочку. Какие-то силуэты склонились над расprostертым на полу жилистым человеком. Совсем рядом послышался звук полицейской сирены. Человек на полу не шевелился.

«Велосипед, коньки, бокс. Надо же, навыки сохранились!»

Дудко разлепил склеенные кровью губы:

— ...это жизнь. Новая жизнь.

Какая новая жизнь? Дудко с испариной на загривке осознал, — его оптимизм последних лет был такой же фальшивый, как и его новые искусственные зубы. Ты не понимаешь, как истаивает время, понимаешь только, когда твое время уже ушло. Ты еще поживешь, но на заброшенной обочине и не участником движения, а статичным зрителем. Так что же? Пока дают, живи в любом качестве.

«Будь я писателем, — подумал технорук чужое, хэмингуейевское, — придумал бы настоящее будущее».

(Москва — Курган, кафе-бар Havana, май 2013 — июль 2020)

Владимир Коваленко
**ПРАЗДНИЧНАЯ РЕЧЬ ПРОФЕССОРА
ЭРНЕСТО КОҚО
В ЧЕСТЬ НОВОГО 2121 ГОДА**

29 декабря

50

Профессор сидел в своем кабинете в привычной, немного скрюченной, позе за скромным, покоцанным белым столиком, который расположился у широкого окна с видом на грандиозный комплекс-улей, чьи огни в зачинающихся сумерках игриво перемигивались. Темнело. Облака постепенно начинали приобретать фиолетово-синий оттенок, в кабинете становилось меньше света, а компьютерная система управления домом, постепенно, почти незаметно повышала уровень искусственного освещения. По пустому бетонному двору гуляло два маленьких человечка, которые с высоты верхних этажей казались микробами. Их сеанс прогулки подходил к концу, и, с завершением солнечного дня, они еще несколько месяцев не смогут выйти из дома.

Профессор был уже не молод, он вплотную приблизился к стадии, когда пожилой мужчина резко, почти одномоментно превращается в дедушку. Во всей его фигуре виделась скорая осень; плечи округлились, грудная клетка становилась по-старчески выпуклой, во взгляде с каждым днем было больше неподъемной усталости. Вокруг глаз скопилось множество морщин, седые густые волосы были уложены с изысканной утонченностью. Он укладывал их так постоянно, не смотря на то, что очень давно никуда не собирался.

Профессор Эрнесто Коко, специалист истории, сделавший научную и преподавательскую карьеру на проблематике общественного парадокса, смотрел в окно, иногда переводя взгляд на электронный календарь, на котором без изменения светилось «29 декабря». Грядет новый год, а вместе с ним и 89-летие Всемирного Чрезвычайного Положения, без которого даже стареющий профессор не мог представить себе мир. Восемьдесят девять, конечно же, не юбилей, но ему как руководителю все равно, придется упомянуть о ЧП в своей поздравительной речи.

Он еще раз глянул на календарь.

И почти сразу одернул себя. Зачем отвлекаться, если дата все равно не поменяется? Но в самом этом сочетании цифр и букв была какая-то неразрешенная загадка для него самого. Загадка личная, интимная, о которой никому не хотелось говорить ни слова, а думать о ней самому, словно дотрагиваться языком до ранки на небе.

Уже скоро студенты и профессора, младшие и старшие научные сотрудники соберутся на интернет-конференции, чтобы он сказал им напутственные слова в новом году. По традиции, заведенной еще до его появления в университете, обучающиеся и преподаватели собирались перед экранами и камерами только первого января, уже в новом году. Они готовили закуски, угощения, напитки. Большой ректорский экран, находящийся на стене справа от стола, озарялся тысячами квадратиков с лицами, озвучивались поздравления, студенты общались в частных комнатах, разыгрывали друг друга в чате, отправляли электронные подарки, смайлики и стикеры, после чего слово предоставлялось ректору и преподавателям.

Уже пятнадцать лет своей карьеры он произносит поздравления, каждый раз ощущая на себе течение времени и его разрушительную поступь; каждый раз в голове он подсчитывал, сколько студентов выпустилось за это время, сколько появилось новых сотрудников, сколько сменилось профессоров.

Каждый год он старался по возможности обходить тему Всемирного Чрезвычайного Положения стороной, делая в поздравительной речи акценты на непеременимых будущих успехах студентов, особых достижениях преподавателей, проблеме феномена Столпов творения или успехах науки в исследованиях проблемы экологии и вреда солнца для организма человека. Иногда казалось, что его речи похожи друг на друга как две капли воды. Каждый год был похож на предыдущий, они сменяли друг друга, словно прошла всего лишь не самая интересная неделя, оставляя металлический привкус от осточертевшего вида из окна. Каждое первое января у Эрнесто прихватывало сердце и хотелось сказать что-либо кроме привычных и ожидаемых вещей. Сейчас на экране был лист электронного редактора с набором разрозненных фраз, из которых должна была родиться поздравительная речь. Ему не нравилась ни одна из этих заготовок, но каждый раз, когда он набирал что-либо приближающееся к его интересам, система выдавала ошибку, и на экране появлялось объявление:

«Непроверенный материал. Возможно, ставящий под сомнение Всемирное Чрезвычайное Положение. Чтобы узнать больше, перейдите на официальную страницу с информацией»

— Солнышко, как у тебя продвигаются дела?

За долгие годы профессор Коко привык, что жена умеет появляться в кабинете незаметно, не выдавая себя ни звуком шагов, ни дыханием; Эллиен словно ментально вырастала за его спиной.

— Пишу новогоднюю речь для университета, — устало протирая глаза ответил Эрнесто.

— И как успехи? — она привычным жестом поправила волосы.

Его вдруг пронзило воспоминание из детства, и он понял, что не любил разговаривать с женой, когда она

стоит над ним вот так, глядя сверху-вниз, словно мама, проверяющая домашнюю работу.

— Пока, как видишь, не очень.

— Ничего-ничего, ты все сделаешь правильно, я уверена. — Она наклонилась к нему и поцеловала в небритую морщинистую щеку, — кстати, Гогенхольды позвали нас праздновать и встречать Новый год вместе, собираемся около семи, основное подключение к конференции в девять часов вечера, будут Окияну, Петров и еще их друзья. Я закажу в «Чип-чип» утку, Матильда попросила, чтобы все заказали именно там, чтобы стол был един. Словно в стиле ретро, как раньше, когда все собирались за столом вместе. Странные времена. Она также просила всех быть в красном или в красноватых оттенках, чтобы создать единый стиль.

— Прекрасно, — отстраненно и безучастно произнес Эрнесто.

— Дорогой, я хотела попросить тебя...

— Да-да, — вызывающе ответил Коко, почувствовав, что Эллен начинает тему, которая ему не нравится.

— Пожалуйста, я понимаю, что сейчас не самый легкий период, я понимаю, что тебе тяжело и что у тебя множество сомнений. У меня они тоже были, но прошу тебя, не надо в этот раз ни с кем спорить, иначе нас не выпустят из дома еще пару месяцев.

Эллен подняла запретную тему. Эрнесто разрожался громом каждый раз, когда она вспоминала ему последнюю фатальную оплошность. Из-за Всемирного Чрезвычайного положения люди могли посещать внешний мир раз в несколько месяцев по очереди, соблюдая все защитные меры, но если кто-либо вел себя неподобающе кодексу ЧП, его очередь отодвигалась.

В одной из дискуссий с коллегами по видеосвязи Эрнесто допустил непростительную ошибку — он потерял контроль и прямо во время конференции сказал, что солнечный свет не так уж и вреден для людей, а ограничительные меры, связанные с ним неоправданны. После этого очередь семьи Коко отодвинулась на

полтора года, а профессор был вынужден проходить унизительный для своего положения и статуса курс, на котором говорящие головы с большого ректорского экрана рассказывали ему про то, что в прежние эпохи люди совершили большую ошибку; они жили не прячась от солнца, не осознавали вред, излучаемый от звезды, болели раком кожи, получали ожоги, но, введенное почти сто лет назад, Чрезвычайное Положение помогло спасти миллионы жизней, огородив людей от ужасающего источника радиации.

Коко злился очень редко, и сейчас, после слов супруги, он почувствовал как внутри, чуть ниже сердца, как будто закипает ртуть. Он уже готовился обрушить на Эллен самые сокрушительные замечания и комментарии, но в последний момент пересилил себя, прикусил язык и резко успокоился.

— Хорошо, я не буду, прости меня, пожалуйста, — сказал он с легкой улыбкой на лице.

Эрнесто любил гулять на улице, но не любил напяливать на себя солнцезащитную маску, перчатки, мазать кожу кремом и постоянно смотреть на часы, чтобы не пропустить закат и не оказаться на улице после конца действия пропуска. За такое могли отобрать право выходить на улицу на несколько лет. Прогулка считалась очень престижным времяпрепровождением. Молодые люди любили выкладывать фото и видео прогулок, причем, чем чаще человек появлялся на фото и видео вне дома, тем он считался успешнее. Эллен была на двадцать лет младше Эрнесто, ее еще привлекали признание и общественное одобрение, поэтому запрет на выход она перенесла болезненно. Инцидент на ректорском совещании повлек за собой сильный разлад, они могли днями не видаться, разойдясь по разным комнатам, и не общаться друг с другом.

В тот период Эрнесто прочел больше всего запрещенных материалов, которые доказывали абсурдность Чрезвычайного Положения, именно тогда он утвердился в вере об иллюзорности их заточения. Он связался с такими же скептиками, проработал несколько сцена-

риев сопротивления и даже подумывал написать манифест, навсегда разорвав с Эллен.

Но потом они случайно столкнулись ночью в коридоре, когда огромная луна заглядывала в окна. Той ночью их любовь была похожа на первый реальный раз в их жизни двадцать лет назад, когда они наконец-то увиделись вживую после пяти лет отношений. Секс по видео-связи у них был постоянно, с прочими женщинами у Эрнесто был секс по сети, секс со многими женщинами. Но такое было впервые.

В ту ночь они словно заново влюбились друг в друга, несмотря на годы. И профессор Коко отбросил любые идеи о диссидентстве.

Сейчас Эллен уже ушла на кухню, очевидно, она что-то ему сказала, возможно, сказала немало, но он ничего не услышал и не запомнил, устремив взгляд поверх противоположного дома и придавшись воспоминаниям. Кажется, он ответил ей привычными фразами. Солнце село, сегодня уже точно ничего вразумительного не напишется, будет импровизировать с речью, в конце концов, скажет пару дежурных фраз.

Окно с заготовками на экране закрылось, профессор встал из-за стола и краем глаза заметил, как два полицейских в защитных черных экзо-скелетах уводят загулявшуюся на улице парочку. Профессор даже не успел понять, стоит ли звать Эллен и как ее правильно позвать, как бедолаг погрузили в огромную машину без окон и увезли.

Двор снова опустел, на бетонных стилобатах гулял ветерок, разнося пыль, песок и редкий снег.

30 декабря

Ночью Эллен проснулась, потому что мужа рядом не оказалось, и, пытаясь уткнуться в его шею, она уткнулась в одеяло. Эрнесто не было в комнатах, не было в ванной, на балконе, кухне, столовой и в туалете. Нигде. Сначала она бесконечно испугалась, а потом поняла, что случилось худшее. Взглянув с балкона вниз,

Эллен обнаружила там маленькую точку, крошечного человечка, сидящего по-турецки прямо на бетонном покрытии двора и смотрящего на небо, чья седая голова блестела в свете редких звезд.

Коко был пойман с поличным, когда бесшумно проник в дом и закрывал все замки изнутри.

— Что ты себе позволяешь, Коко? — она стояла возле открытой двери на балконе, сложив руки на груди.

В ночном свете ее фигура казалось силуэтом, созданным опытным гравистом. От этого вопроса он вздрогнул и теперь держался за сердце, опершись о стену в коридоре, из которого был виден кусок кухни, холодильник, окно и грустное, но воинственное лицо Эллен.

— Солнышко, я отчетливо понимаю, что виноват, дай мне все тебе объяснить, прошу, — он медленно зашел на кухню, держась за сердце и сел на стул.

— Не изображай из себя умирающего. Наш дом проектировался после ЧП, в нем нет лифтов, ты спустился и поднялся пешком, ты прикидываешься стариком, когда тебе выгодно, но на самом деле ты здоровый мужчина, которому должно быть стыдно так себя вести и вызывать жалость!

Эллен разошлась не на шутку. Она не кричала, нет, но каждая буква била, словно сверхтяжелая промышленная кувалда.

— Дорогая, мне не просто это далось, было тяжело, я делал остановки...

— Ой, посмотрите, какой бедный перед нами сидит человек. Может, просто не надо было нарушать режим изоляции?

— Солнышко, но сейчас ночь...

— Ты хоть знаешь! Ты знаешь, сколько нам запретят выходить из дома, если тебя поймают?! Там же камеры. Ты подумал о них?

— Дорогая...

— И это сразу в ночь после того, как я попросила тебя вести себя тихо и не разрушать нашу возможность выйти на улицу? Неужели я так много прошу?

Он молчал.

— Я же просто попросила тебя, я была рядом, когда мы оказались в сложной ситуации, я помогала, мы вместе справлялись и преодолевали, я была с тобой, хотя сама не несу бредни про солнечные лучи! Это не я нарушала закон! Но меня тоже наказали, меня тоже отстранили от возможности погулять, перенесли очередь. А теперь что оказывается! Он словно на зло мне выходит из дома прямо под камеры наблюдения!

Он молчал, устремив взгляд на кончики своих пальцев на ногах.

— И теперь он сидит и смотрит вниз, словно обиженный ребенок! Они приедут, ты не понимаешь, что с минуты на минуту сюда ворвутся полицейские?

— Не ворвутся, — тихо ответил Эрнесто.

— Что, простите?

— Не ворвутся, — сказал он громче.

— Мистер Коко, это почему же? Вам сделают заключение?

— Нет, мне его никто не сделает, камеры не работают.

— Что?!

— Камеры на этаже, в холле и на лестницах не работают, иначе бы меня уже давно арестовали.

Выражение лица Эллен сменилось с грустного и воинственного на растерянное, словно Эрнесто только что признался ей не просто в измене, а в целой серии измен.

— Нет... — она «упала» спиной на стену и стала сползать вниз.

— Да, — металлически сказал Эрнесто.

— Нет, нет, нет, нет! — Эллен замотала головой, словно пыталась отогнать назойливую муху, а потом заплакала.

— Первый раз я вышел на улицу на четвертый день, как мы разошлись по разным комнатам, — Эр-

несто говорил с таким выражением, словно готов был заплакать сам, — тогда мне казалось, что ничего уже не вернуть, что моя карьера разрушена, что тебя я потерял, я не спал несколько ночей и только и делал, что читал через зашифрованную сеть запрещенные материалы и переписывался со скептиками. Тогда я крепко решил, что сейчас должен завершить это так, свободно разгуливая по улице. Тогда не было ни Луны, ни звезд, небо заволокли тучи, очень темно. Я спустился, когда ты спала. Мне казалось, что я не успею дойти и до первого этажа, как меня заберут, но этого не произошло. Я просидел внизу около двух часов, свежий ветер обдувал меня, по рукам ползали насекомые, а легкие наполнялись свежим воздухом, в голове кружилось. Элен, это словно первый секс, наш первый секс, это непередаваемо сидеть там, внизу, на свежем воздухе без маски. А потом я замерз и чуть не уснул. Никто меня не заметил. Никто на улицу не выходит, боится камер, а камеры, видимо, давно не работают.

Воцарилось молчание, которое нарушали только частые всхлипы Элен. Так они просидели какое-то время — она, прислонившись спиной к стене, обхватив колени, смотря на пол и он, сидя на стуле, продолжая смотреть на кончики своих пальцев.

— Сколько раз ты выходил на улицу? — Элен из последних сил старалась заглушить бурю эмоций.

— Около ста. Может больше. Один раз я даже уснул там и проснулся только из-за солнечного света.

Элен снова закричала, замотала головой и заплакала навзрыд. Она говорила что-то нечленораздельное, утирала покрасневшие щеки, размазывала слезы по лицу. Ее трясло, истерика достигала апогея.

— Ненавижу! — она прокричала это так громко, что, наверное, все соседи на пару этажей в округе могли услышать.

Прокричав проклятье, она стрелой убежала с кухни в ту самую комнату, где жила во время предыдущего расставания.

Эрнесто сидел неподвижно, смотря вниз. Так сидел до самого рассвета, а когда солнце поднялось и на окнах включалась система фильтрации, заглушающая солнечное излучение, он отправился в кабинет и проспал до самой ночи.

31 декабря

«Не забудь, что сегодня прием у Гогенхольдов. Не опозорь меня».

Это было все содержание сообщения от Эллен, которое он получил рано утром.

Что делать с этой информацией, профессор не знал. Как они будут на приеме? Вместе? Раздельно? Простила она его или нет. Эрнесто сделал Эллен пару звонков, но она не отвечала. Тогда он прошелся к ее комнате, постучался в дверь и спросил.

— Эллен, солнышко, я хочу праздновать Новый Год вместе с тобой, может, мы поговорим?

Не было ответа. Мистер Коко попробовал еще пару раз, но Эллен хранила молчание.

Тогда профессор вернулся к себе и продолжил работу над речью, которая никак не хотела обретать форму и стройность. Разные куски текста, словно конфликтующие колонии грибов, разрастаясь по пространству листа, не хотели уживаться вместе. То и дело выскакивала запрещающая плашка.

«Непроверенный материал. Возможно, ставящий под сомнение Всемирное Чрезвычайное Положение. Чтобы узнать больше, перейдите на официальную страницу с информацией»

Каждый раз и без того беспокойный Эрнесто нервничал и на десятый раз вспыхнул окончательно. Когда появлялась плашка, он бил по столу кулаком, кричал и грязно ругался. Борьба с компьютером стала для него вызовом, настоящим полем битвы, с которого он мог уйти только в плотном каре с развернутыми знамена-

ми и под барабанный бой. Вышел из такого состояния он только к вечеру, когда вся комната была наполнена электрическим светом. Он был измотан и высушен, опустошен. А впереди был Новый Год и вечеринка, на которую они с женой придут из разных комнат.

Вечеринка у Гогенхольдов была самой обычной. На большом экране высветились лица Симона Петрова и его новой подружки, с которой он еще был в интернет-отношениях. Эрнесто отметил, что каждый год у него была новая подружка. Окияну со своей женой как всегда старался неуместно балагурить, пересказывая популярные и беззубые шутки, а его жена дергала всех по очереди в приватные комнаты и обсуждала покупку новых стикеров, рамок и эффектов для мультиграмма. Сами Гогенхольды говорили, что они устали, потому что долго готовили мероприятие и всех собирали. Миссис Гогенхольд постоянно сетовала на то, что организовать хорошее празднование очень сложно и что она была в последнее время на сотне плохих. Ее муж много ел, пил и иногда вставлял неуместные комментарии. Сначала Эрнесто казалось, что он пытается вывести всех на интересную только ему одному тему, но потом понял, что в комментариях и перебивках тучного и скучного Гогенхольда нет никакой логики и он просто говорит, потому что говорит. Элен активно участвовала в обсуждениях, хвалила утку из «Чип-Чип», рассказывала, какие блюда заказывали недавно они с Эрнесто, как будто ничего не произошло, и вела себя так, как будто этот праздник ей нравился. Он ей и правда нравился — это тягучее и прожигающее ощущение пустоты и ненужности было предназначено для одного только Коко, который читал какую-то книгу про Первую Мировую войну почти все время, иногда отдельваясь дежурными фразами.

За полчаса до Нового Года миссис Гогенхольд сказала, что подготовила для всех сюрприз.

1 января

Когда две тысячи двадцать первый наступил и строчка, отображающая время, показала все ноли, на экране появился плохо нарисованный салют и странные звуки, которые должны были изображать взрывы. Коко приложил все возможные усилия, чтобы выдать хоть что-то походящее на улыбку, что, судя по картинке, было больше похоже на звериный оскал.

Через час после Нового Года все стали постепенно расходиться, прощаться, отправлять стикеры с объятиями и поцелуями, признаваться друг другу в теплых чувствах и дружеском расположении, заявлять, как они прекрасно провели время и как обязательно надо все это повторить.

Экран погас.

01:37

Эрнесто сидел один в темноте перед своим огромным экраном и чувствовал, как мировая пустота изливается из его сердца во внешний мир, затапливая самые глубокие впадины. За окном бежали облака. Наступил Новый Год, который принесет те же экраны, те же квадратики, стикеры и улыбки, утку из «Чип-Чип» и очередную речь на Новый Год.

— Эллен, ты спишь? — он стоял у закрытой двери, прислонившись губами к теплому дереву.

Конечно, она не спала, после праздника прошло не больше пятнадцати минут. Эллен точно не спала, он знал ее.

— Эллен, солнышко, я хотел поздравить тебя с Новым Годом. Я люблю тебя, прости меня, пожалуйста, за то, что я позволил себе выходить на улицу. Я не знаю, о чем я думал. Я ...

— Уходи, — приглушенно донеслось из-за двери.

— Эллен, пожалуйста, дай мне сказать...

— Нет, ты не понял, уходи, нам нечего обсуждать.

— Доро...

— Я съезжаю.

Очень редко в жизни человека происходят такие удары, когда земля под ногами словно раскалывается, и ты падаешь вниз, в невесомость, когда время перестает существовать, когда перестает существовать все, кроме одной фразы. Профессор Коко пошатнулся, взялся за сердце и переспросил.

— Я съезжаю, Коко, — донеслось громче из-за двери.

А потом уверенные шаги потопали навстречу. Дверь полуотворилась. В новогодней темноте он увидел в проем лицо жены — далекое и чужое, отстраненное и злое.

— Я съезжаю, Коко. Говорить буду я и только я, ты не имеешь права даже открывать свой рот. Я устала, что ты ставишь мою безопасность под угрозу, устала, что я прикладываю усилия, которые ты можешь разрушить одним наиглупейшим поступком. Твоя старческая инфантильность навредит тебе, но при чем здесь я, если я ни в чем не виновата? Я клялась быть с тобой, но сейчас ты похож на маньяка, на наркомана, который причиняет ближним боль и сам этого не понимает. Я не могу тебе верить, ты понимаешь?

— Эл...

— Не перебивай меня! Я не верю тебе. Я не могу быть с тобой, я доверяла, но теперь это закончено, теперь я не могу взять тебя за руку, довериться тебе, быть твоей. Я — женщина. Я требую к себе уважения, я хочу быть уверена, что завтра ты не надумаешь принести меня в жертву или не прыгнешь в окно. И я этого не понимаю. Я съезжаю, Эрнесто. На высших этажах есть одно место, я уеду туда на первое время, а жилье буду выбирать потом. Чтобы уехать быстрее, есть только этот дом.

— Я не верю, — теперь уже Коко отозвался шепотом из-за двери.

— Я попросила твоего знакомого помочь. Вильгельм все организовал. Он знает, что мы расстаемся.

— Боже, Эллен, зачем ты пошла к моим знакомым? Что ты себе позволяешь, Эллен!

— Не закипай! — раздался чужой голос из-за двери, — если ты посмеешь себе на меня кричать, я сдам тебя полиции. Вчера я сняла тебя на видео.

— Что? — выпалил Коко на выдохе.

— Я сняла тебя на телефон. У меня есть против тебя доказательства. Ты дашь мне завтра спокойной уехать и больше никогда не появишься в моей жизни. Точка! А теперь убирайся к себе в нору!

Эллен явно вышла из себя в конце.

Воцарилась тишина.

2:00

В этой тишине профессор вернулся в кабинет. Он сел за стол и начал набирать на компьютере текст. Внутри все жгло и клокотало, такой боли и такого вдохновения он не чувствовал уже дано.

«Непроверенный материал. Возможно, ставящий под сомнение Всемирное Чрезвычайное Положение. Чтобы узнать больше, перейдите на официальную страницу с информацией»

Выдавал компьютер почти на каждое слово, не давая продвинуться дальше.

«Непроверенный материал. Возможно, ставящий под сомнение Всемирное Чрезвычайное Положение. Чтобы узнать больше, перейдите на официальную страницу с информацией»

Тогда Эрнесто ударил кулаком по столу, вскочил, бросился к ящику с документами и, выпотрошив его целиком, достал раритетный грифельный карандаш. Но редкие и дорогие листы бумаги, все три штуки, остались в комнате Эллен. Тогда Эрнесто подошел к стене, взял краешек обоев на стыке и резко рванул вправо. А потом писал, писал, писал, затачивая тупившийся карандаш.

Через какое-то время все было готово. И когда к вечеру началась интернет-конференция, все студенты

и преподаватели собрались у экранов, а в общем чате закончился галдеж и посторонние разговоры, ректор торжественно поправил галстук и начал свою долгожданную речь:

Поздравительная речь профессора Эрнесто Кокко в честь нового 2121 года

«Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, коллеги, соратники и друзья. Уже наступил долгожданный 2121 год, который мы с Вами так долго ждали. Я бы очень хотел сказать, что он принесет нам много всего интересного и важного, но я не имею права сказать так. Если я посмею себе такое, я буду проклинать себя до конца собственных дней. Друзья мои, наши дни стали похожи один на другой, наши жизни превратились в однообразные комки глупости и ничемности.

64

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на год прогулок!»

Несмотря на то, что система вторгается в наш праздник, несмотря на то, что ее объявления перебивают, я продолжу свою речь. Я, как профессор истории и как ректор, как ученый и как образованный человек, должен сказать, что вся наша цивилизация была построена на риске и на вызове. Только риск и вызов дают возможность творческой личности раскрыться. Заточение во имя всеобщего блага забирает у человека огонь, которым он согревался в глубокой древности, забирает у него удивление, которым он наслаждался, глядя на бесконечное звездное небо, отбирает страх, которым человек наделял свои легенды и сказания.

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на три года прогулок!»

Сотни лет жизни наших предков показывают нам, что Солнце неопасно, что наше излишнее внимание к его негативным чертам забирает у нас любое позитивное отношение к Солнцу.

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на пять лет прогулок!»

Его теплые лучи, легкий ветерок, пикник на берегу реки, чтение книг в прохладной тени, игры на лужайке — это все было отображено у нас, потому что мы испугались и совершили глупость. Мы дали глупости править нами.

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на десять лет прогулок!»

Глупость стала нашим правителем, мы присягнули ей на верность, принесли на ее алтарь наши жизни и наши мечты, амбиции и чаяния, позволили глупости управлять всем, дали ей доступ к нашим запискам и нашему общению ради общего блага, которое обернулось всеобщим бедствием.

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на пятнадцать лет прогулок!»

Мы все могли жить по-другому.

Древняя забытая идея о божественной и животной природе человека не случайна, она не столько должна нас отпугнуть, сколько заставить задуматься. В нас, в людях, есть два слагаемых, дополняющих друг друга, эти слагаемые имеют самое разное название — добро и зло, «рацио» и «иррацио», свет и тьма, но вся эта ди-

хотомия скрывает за собой лишь одну простую истину.

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на двадцать лет прогулок! Вызван наряд полиции»

Без чего-то светлого, доброго, чистого, без культуры, без тепла природы и холода опасности в человеке ничего не остается. Не остается ничего, кроме животного, темного. Убивая в себе разум, наслаждаясь негой и полностью отдавая свои мозги на откуп, вы теряете светлое, уподобляясь стадной корове, которая бежит вместе с остальными коровами, потому что так заведено.

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на двадцать пять лет прогулок! Вызван наряд полиции»

66

А было бы неплохо остановиться и подумать о причинах.

Остановиться и оглядеться вокруг, посмотреть на уничтоженные луга, затоптанные леса, задавленных сородичей. Но времени нет! Стадо набирает скорость, тебе некогда думать, ты должен, задыхаясь от темпа, преодолевая себя, покраснев от нагрузки, бежать, неважно куда, ведь все не могут ошибаться. Или могут? И вот впереди обрыв, но вы только набираете темп! Тысячи, миллионы коров с диким мычаньем валяются в пропасть.

Разница лишь в том, что корова не может думать, а человек может.

Дорогие студенты, уважаемые преподаватели, коллеги, соратники и друзья. Видимо, я уже не выйду из дома до конца своих дней, и, судя по всему, сейчас меня заберет полиция. Я должен сказать вам последнее. Я безумно люблю свою бывшую жену. Она была против этой речи. Только я один несу ответствен-

ность за это. Будьте смелее, дорогие друзья, не поддавайтесь глупости.

«Внимание! Высказывание, нарушающее кодекс ЧП! Спикер оштрафован на тридцать лет прогулок! Вызван наряд полиции»

Владими Лорченков
БИБЛИОТЕЧНЫЙ РОМАН

(отрывок из романа)

... впрочем, мне сейчас не до того. Думаю, что с Анной-Марией Лилией Де Ла Крус делать и с младенцем, от меня в животе её образовавшемся! Как глупо! Еще хуже, сучка оказалась с принципами, и на аборт не согласилась!.. чего уж, я не предлагал... мне не хватило духу... и первая же наша встреча после того, как она мне позвонила, закончилась в постели. А до тех пор глупая девка только и делала, что болтала о том, какой замечательный малыш у нас вырастет! И стоило мне не ответить сразу же на бесконечные её глупые восклицания, как девка с видом побитого щенка умолкала... А мне не хватало мужества мягко, но твердо... вот так, в стиле оксюморон!.. поставить дуру на место... сразу перспективы наши и планы обозначить... “У нас”! Это она говорила о женатом человеке... впрочем, я же обещал себе говорить правду! Скажем, у неё были некоторые основания заблуждаться... я ведь о своём семейном статусе умолчал... слегка видоизменил... в общем, мы с женой, по моим заверениям, разводились. Но мог ли я позволить себе уйти сейчас, да еще и к залетевшей несовершеннолетней? И что там родители девчонки? Блядский скандал? С библиотекой придётся распрощаться... Это в лучшем случае! В худшем... Писатель с каким-никаким но всё-таки именем... работающий на Монреаль... брюхатит школьницу! Такую и на аборт не пошлешь, сразу в полицию позвонят! И что же теперь делать?! Как все уладить до приезда жены с детьми? Уже, между прочим, существующими — давно и прочно — и о которых мне тоже

следует, кстати, заботиться! Будь я таким, как мои коллеги... вроде того же Славы!.. просто перестал бы брать трубку и забыл. Но я всегда пытался быть хорошим человеком... точнее, притворялся!.. если верить Славе!.. и он оказался совершенно прав, утверждая, что мои мягкость и вежливость лишь усугубляют проблемы, которые я причиняю другим. *Проблема...* Возможно так следовало ответить, когда дурочка спрашивала меня, как мы назовём малыша... Но что же всё-таки делать, если впереди только июль и авгу... Вот о чем мне хотелось подумать в тишине и спокойствии сейчас! Но это вряд ли возможно! Ведь я — в кабине грузовика, вышел на мувинг, грузчик я сегодня, собираюсь аработать деньжат на аборт Лилии Крус... Нас бросает то вперёд, то назад! Треск! Скрежет! Ну, да, это же легендарный Миша! Дальнобойщик, но, прежде всего, мент. Нет, я не злословлю. Нисколько! Он сам так про себя говорил, диагноз себе беспощадный ставил. Прежде всего я — мент, с гордостью говорил о себе Миша, подчеркивая каждое слово постоянным, бесконечным шмыганием. Он любил шмыгать. Чего уж там, кокаин он любил! А как же ему не любить кокаин, Мише, кучерявому неудачливому Меркурию, если он, по поручительству богов, снуя между Канадой и США, не спал, совсем не спал. Это всё от жадности! Миша брал три рейса в неделю, каждый на два дня... Ну, как на два. На три, если честно! Мадам Умм даже по секрету мне как— то поведала, что Мише пришлось продать кое-что... нечто неуловимо напоминающее душу — насколько возможно существование души у мента! — за возможность спуститься Аид, и побеседовать там с призраком вечно ноющего Цезаря с его календарем...

Мол, благодаря приобретённому таким образом сокровенному знанию мой знакомец и овладел искусством сокращать часы, и, наоборот, продлевать... Повелителем времени стал! Но, конечно, ради легенды для смертных... сколько времени и сил тратится на этих смертных!... пришлось совершать массу телодвижений. Для всех Миша химичил, мутил, жульничал с до-

рогой, таймером, счетчиком километража... Оборачивался за два дня там, где дороги на три. Спал с открытыми глазами. Ехал, ничего не соображая. Это же рейс! Это же деньги! Это же 200-300 долларов! Зачем ему эти триста долларов, Миша объяснить толком не мог. Я-то знал, но мне доставляло удовольствие задать ему этот вопрос и уловить тень тревоги, залегшую на дно его глаз, как крокодил — в темном от грязи мелком озере. Так червяк, попавший на крючок, беспокоился бы, пытаясь понять, как он там очутился и что делает. Конечно, спроси кто-то червяка об этом! Так я и спрашивал! Миша не находил что ответить, злился. Дети Миши — два его образа и подобия... я отчетливо уловил тень насмешки Афины... учились в бесплатных колледжах... носили застиранные вещи... Ела семья дерьмо из супермаркетов и пила чудовищное количество «Кока-Колы». Миша считал это полезным, потому что сахар это энергия, а энергия это жизнь! Миша презирал меня и книжки, которые я почитывал, дожидаясь, пока на парковку приедут все грузчики, с которыми мне выпадало в тот день работать. Его величество сноб. Нищеврод! Сел бы за руль! Сесть за руль... Это лейтмотив эмигрантских разговоров в Канаде. Это *dernier argument du roi*², сесть за руль грузовика в Канаде. Каждый уважающий себя эмигрант из экс-СССР, набрав долгов и как следует обосравшись, шел в банк, чтобы взять еще 3-4 тысячи в долг, оплатить курсы вождения грузового автомобиля, и сразу же Сесть За Руль. Начать спешить! Зарабатывать! Триста долларов! Четыреста долларов! Ещё, ещё долларов! Свой единственный свободный день, сэкономленный за счет постоянного нарушения ПДД, Миша проводил на погрузках. Ещё двести долларов! Ещё денег! Зачем, для чего? Когда Миша, сотворенный из глины ради того, чтобы спешить, начал задавать себе этот вопрос, боги напустили туману. Женщина, конечно, женщина! Хочешь отвлечь мужика от серьезных размышлений,

² Последний довод короля — *фр.*

подбрось ему, как собаке, мяса кусок. Бабского! В жизни Миши появилась женщина, и он перестал задаваться даже тенью вопросов. Теперь спешить следовало еще быстрее. Миша даже спешить стал поспешно! Все дело в его любовнице, размышлял я, глядя, как Миша лакает «Колу» — я, бля, что — тупой?! сахар наха полезен! чистая мля энергия бля! — и ругается с бабой этой своей по телефону. На громкой связи, конечно! Он называл её своей «женой». При этом в России, откуда Миша сбежал по туристической визе, у него жила еще одна жена. Ну, или «жена». Я даже запутался! Так или иначе, а периодические взносы в бюджет этих жён заставляли Мишу работать еще больше, еще быстрее, еще мучительнее, подвергая риску жизни случайно встретившихся ему на дороге людей. По его, Миши, словам, он на эту содержанку состояние целое тратил... как саудовский принц на проститутток-моделей, соколов для элитной охоты, и на штат киллеров для политических убийств за пределами страны. Во-первых, бля, кричал Миша — он всегда кричал, склонившись вперед, к рулю... кричал в собеседника или в стекло... в трубку или в небо... и мысли его путались, барахтаясь в ужасной смеси «Колы», кокаина, и каких-то дичайших представлений о мире и его, Миши, места в этом мире — во-первых, бля... Тут он бросал руль и начинал загигать свои искалеченные металлом пальцы шофера. Во-первых... Да, он ещё и повторял каждую фразу раз по двадцать! Во-первых... Кто тебе целый мешок продуктов в «Cotscko»³ купил, дорогая?! Я! Кто заплатил за нас в кафе?! Я! Я! Я! Как... как... как это назвать?! Как назвать это, я вас спрашиваю?! Я инвестирую! Он произносил это по слогам, с акцентом на каждом... Я ин-ве-сти-ру-ю. Вот так. Он не просто бабе своей кофе в «МакДональдсе» покупал. Он инвести-ро-ва-л. Совершал финансовые вложения! Послужать несчастного ублюдка, так он не целлофановый

³ Дешевые оптовые магазины в Северной Америке — (прим. авт.)

пакет с куском сыра, парой картошек и пучком зелени бабе своей украинской завозил — а ведь это, кстати, еще и доставка домой!.. очередной этап ин-ве-сти-ций! — а целую программу финансовой помощи осуществлял! Операция ООН для несчастной киевлянки, которая всё никак не могла дожидаться, чтобы её занудный мужик, с которым она уже лет семь «встречается», съехался с ней. Ну, или разъехался! Что-нибудь чтобы уже сделал, наконец! План Миршала — это я так Мишу и Маршала слил воедино — для отдельно взятой бабы. Мише понравилось! Он поблагодарил! Он не понял юмора... Они часто не понимали, а я старался особо не раскрывать детали, во избежание неприятностей. Миша в самом деле верил, что осыпает, по сути, возлюбленную бриллиантами... в денежном эквиваленте! Ладно, не

бриллиантами... Сыром, окорочками и зеленью со специями! Это одно и то же, в конце концов! Сумасшедшим скворцом летел к гнезду своей женщины Миша, чтобы украсить стены ее гнездышка упаковкой воды, пачкой туалетной бумаги и фольгой для выпечки. Хозяйственный! Увы, возлюбленная не ценила этого... секс у них случался раз в месяц, а то и реже... Миша считал! Он показывал мне календарь, в котором Эти Дни были проткнуты булавкой. Погрешу против истины, если скажу, что календарик напоминал решето... Зато вся парковка «Камамбера»... чего там, все грузчики Монреаля!.. знали, когда у Миши случался секс. Почти никогда не случался! У Оли... или Наташи? — еще одна украинская женщина по имени Оля или Наташа... их тела смешались в моей голове в какую-то колбасу или что у них там подают традиционно по праздникам... фарш в упаковке кожи! — вечно что-то болело. Болела голова. Болели ноги. Почки иногда болели. Порой и зубы болели у Оли! Тут не забалуешь! Мише приходилось драть сухомятку, отвернувшись тактично, засыпать со стояком. Утром, сучка... хочешь не хочешь, а полночи рядом с мужиком какую угодно бабу потечь заставят... заводилась, ластилась сама...

Не тут-то было! Миша отталкивал её, убегал в рейс... Мстил по-своему! От этого она заводилась и, увы, не в хорошем смысле. Давала еще реже! Миша нервничал, его сторонились... Опять у мента месячные!.. говорили коллеги, обходили Мишу стороной... А тот вечно куда-то бежал, торопился, разбивал мебель клиентов, машины чужие крушил... Но Даниил прощал его. Снова на работу звал. Всё дело в деньгах! Это же Канада! Тут все дело всегда и исключительно в деньгах. Миша из рейсов привозил бензин, который воровал у своей компании... это называется у них «доить машину»... и Даниил покупал топливо по дешевке. Канистры были грязными, в солярке вечно что-то плавало... В конце концов Даниил проигрывал, потому что из-за дешевого топлива часто менял дорогие фильтры. Как видите, я отлично знаю детали! Ещё бы! Я про это дерьмо почти год слушал! Громкий мат стоял над парковкой, потому что грузовики на грязном топливе чаще ломались... Все теряли время... Так мы плавно возвращаемся к деньгам, потому что время в Канаде это не просто метафора денег, а их прямой эквивалент. Вы не опаздываете на час, вы теряете двадцать долларов. Фильтр это не фильтр, а три часа вашего времени, стало быть, шестьдесят долларов без вычета нало... Много подробностей! Я понимаю! Я специально выучил всю эту дерьмовую тарабарщину. Фильтр, диски, эмульсионка, валовая ось, октава... пардон, последнее, кажется из другой оперы... чтобы хоть как-то уважение к себе на парковке «Камамбера» вернуть. Уважение, оно как половозрелая девушка в социальной сети «В Контакте» и её цитаты. Очень легко потерять и очень тяжело вернуть! А случилось всё в мгновения! Как-то мы ехали с — как раз, Мишей! — и одесситом Женей, которого родители его жены вывезли в Канаду, чтобы осеменить засидевшуюся в невестах девку, и разделить бремя ипотеки за двухэтажный дом... Одессит с наслаждением... будто слепец, бабу щупая, комментировал каждый попавшийся нам навстречу автомобиль. Десять... двадцать... тридцать машин... Технические характе-

ристики, оттенки красок, мощности двигателей... Я в это время тихонечко грезил... Представлял себя Потёмкиным, который только знакомится с императрицей Екатериной... Видимо, тут проявилась какая-то связь с Одессой. Как обычно, появилась эрекция... Я как раз посвящал себя мыслям о первом поцелуе с Её Величеством, когда Женя ткнул меня в бок локтем и спросил, как я нахожу этот восхитительный «Порш». Я глянул в сторону... промычал что-то для приличия... Женя встревожился! Да я ведь не туда глянул... Да и потом не смог сказать, где тот самый «Порш». Женя переполошился! Потом заподозрил что-то! Я что, бя... Я, бя, не знаю, как выглядит «Порш»?.. Я, бя, НЕ ЗНАЮ КАК ВЫГЛЯДИТ ПОРШ. Пришлось сознаться... И как «Ягуар» выглядит, я не знаю. И чем «Хонда» от «Тойоты» отличается, не знаю. Мне вообще, плевать на это. И машину свою купил, потому что она у входа в торговом центре стояла. Даже марку автомобиля своего не знаю! Кхм-кхм... Даже Миша, вечно болтающий, как попугай, Миша, ошеломленно смолк. Так, в гробовом молчании, мы и вернулись на базу. Само собой, коллеги проболтались... Это окончательно уничтожило мою и без того двусмысленную репутацию, которая пошатнулась впервые из-за неумения пользоваться дрелью. Никчемным, ненужным существом я оказался... Совершенно непригодным в хозяйстве... Вроде утконоса! То ли ещё будет, решил я, когда они меня с книгой увидят. Так что пришлось наметить целую программу по восстановлению доверия. В следующий рейс мы поехали с Мишей вместе и я терпеливо выслушал очередной многочасовой монолог об Отношениях — они так называли свой ежемесячный секс в обмен на кулек продуктов из «Котско» — с его канадской женой. Кратко резюмируя, я бы обозначил эти отношения как никчемные... Обыкновенный повторяющийся цикл... вроде разлива Нила... Скука... рост напряженности... ссора... злоба... ожидание примирения... примирение и никчемный секс... Впрочем, я уже говорил. И он говорил! Они разъезжались... Теперь уже

навсегда, это точно! Через месяц-другой снова съезжались... Конечно, это всё от лени. К тому же нюансы. Подводные камни! Сестрой Ольги оказалась политическая украинская активистка. Наташа, как я понимаю! Или что-то в этом роде... А как раз наступил 2014 год... Жизнь иммигрантов в Канаде обрела хоть какой-то — помимо еще 200 долларов, еще 300 долларов — смысл... Метаморфоза украинской общины произошла в Канаде в 2014 году! В очередях в «Cotsco»... за скидками... за бесплатными талончиками на заправочных станциях... зазвучали слова о родине, демократии, свободе и ценностях. Само собой, никчемная трескотня! Ценности... По мне так, песок в глаза. Ценности ваши блядские... Только о них я и слышу с тех самых пор, как меня впервые в жизни обокрали. При словах «достоинство» и «личность» постоянно задницу потираю! А еще — солидарность! Помню, очень словом этим Софи злоупотребляла, одна из издательниц моих французских. Она как раз разводилась с партнершей своей... Надеж... и они ожесточенно вырывали друг у друга из рук авторов. Так я на короткий срок внезапно для себя оказался востребованным писателем! Случайно, чисто случайно... Я публику за нос водил, выдавал себя за весельчака и жанрового автора. Я всегда себя за кого-то выдаю. А тут ещё и мой дурной французский! Слова мои можно было истолковать и так, и этак. Французы наслаждались мной! Смаковали, как подгнивший сыр! Драка выдалась на славу! Звучало много угроз... лести... обещаний... ни одно из которых не оказалось выполнено ни одной из них!.. Французы — мастера обещаний. Обещаний на рассвете! Да и на закате! Софи — как раз проигравшая схватку — взялась отвезти меня на юг, в 200 км от Бордо, на чтения в библиотеке. Я заявился в их дом — старый особняк в запущенном саду, полный антиквариатной мебели и книг с изречениям Папы Римского... да, они оказались примерные католики! — с раннего утра. Само собой, найти особняк в незнакомом городе я должен сам! Пил кофе с её лицемерным мужем-святошей... Треснувший

фарфор, пятеро детишек и книги о Ватикане. Solidarité! Amour! Amitié! Само собой, Софи, практичная француженка, решила убить двух зайцев и взяла в поездку всех своих детей. От двухмесячного засранца до пятилетней девчонки... Да, она рожала по одному в год, видимо, так полагалось в соответствии с инструкциями Папы! Еще с нами отправился муженек. Лицемерная детина в три метра ростом и под два центнера весу жаловался в пути на чрезмерный социализм Франции и намекал на желательность сокращений финансирования бесплатной медицины. На себя, понятное дело, не примерял! Всю дорогу они крутили диски Лафонтена блядского, которым французы так гордятся — а чего тут гордиться?!.. это же все Эзоп переписанный! Как, впрочем, и Монтень — Плутарх переписанный!... и пели песни. Мы семья, мы прекрасная семья. Мы чудесная семья. Мы отличная семья. Леопольд задавал ритм, постукивая по рулю. Кого-то из детей тошнило. Я корчился на переднем сидении от боли — это всё красное!.. от него подагра разыгралась!.. — и ужасного похмеля. Но что делать! Лучше напиваться до усрачки, чем слушать лицемерную болтовню Софи! Я спасался видами. Как прекрасна Франция! За это ей можно и существование французов простить! Впрочем, есть среди них и неплохие ребята! Карин, владелица книжного магазина в Сулак-Сюр-Мер, например. Встретила меня задушевно, к морю провела... Напоила красным... О книгах беседовали... Сулак, пряничный домик у песочного пирога пляжа, одним боком окунался в Атлантику. Я бродил по пляжу и ловил попутный ветер в сторону Квебека. Так они мне — и Карин, и Сулак, и Атлантика — понравились, что я даже отправил в это место умирать героя своего следующего романа. Райское место Сулак-Сюр-Мер. Где умирать, если не тут?! К сожалению, в тот день побрести в Океан, преодолевая сопротивление волн, а после дать им увлечь себя за собой я не мог. Там присутствовала Софи! И все её пятеро несчастных детей, которых ужасно рвало. Бедные дети! Я

умолял не брать их с нами... тщетно! Это же французы! Il faut profiter!⁴ Если есть возможность хапнуть чего-то на дармовщинку, они никогда возможности не упустят. Иль фо профите! Леопольд повел детей обедать в какой-то местный ресторан... С воодушевлением поведал нам о замечательной местной specialité. У меня, конечно, весь день маковой росинки во рту не было! Не считая двух литров вина! Но что поделать, у меня не было выбора, в вине ведь много калорий! Софи не препятствовала, хотя её, безусловно, тревожил мой алкоголизм, я видел это по её взгляду в книжном магазине. Она не хотела, чтобы я напивался, она была сыта по горло тем, что я напивался на встречах с читателями! Но вино ведь даром... за счет Корин... так что ... черт со мной, я мог напиваться! Возвращались мы поздней ночью... опустошенные... Леопольд болтал, рассказывал, какие вкусные блины им подали. После этого, не меняя ритма и напора, она начинала нести чушь про фратерните и солидарите... и они привезли меня к краю Бордо, где высадили на незнакомой улице, чтобы я сам мог поискать свой отель, и заодно сообразить, чего бы сожрать на ночь. К счастью, я наткнулся на Надеж! Они с Софи предпочитали не встречаться лично... передавали друг другу авторов, как свекровь и невестка в ссоре — детей на троллейбусных остановках... Я очень хорошо знаю, о чем говорю! Моя бабка по отцу ненавидела мою мать! Та отвечала взаимностью! Примерно как Надеж и Софи ненавидели моя мать и моя бабка друг друга. Надеж, лукавая гасконка с испанскими корнями, приняла меня, приютила и накормила. Оказалась добра ко мне! К тому же, как я упомянул, они делили издательство и она во мне нуждалась. А когда перестала... я полетел в мусорное ведро! Впрочем, это произошло позже, когда я оскорбил всех, кто меня знал, своим омерзительным, шовинистическим, расистским, мизогинным и — шире — человеконенавистническим романом «Царь го-

⁴ Нужно пользоваться! Извлекать выгоду! — *фр.*

ры», полным оскорблений Квебека и франкоязычной культуры, иммигрантов и меньшинств. Даже Делин Сион я оскорбил! И гомосексуалистов! Так что от меня потребовали сократить роман... кастрировать его... все, включая литературных агентов, настаивали на этом. Ну уж нет! Это мой кот! Пусть он и воняет, но яйца я резать ему не стану, решил я... и как всегда ошибся! Мыкаюсь с тех пор с этим романом. Как бомбу, как пояс шахида на себе ношу! Но Францию... Францию я полюбил навсегда... Что ужасно раздражает Мишу! Я что, не знаю, что Франция эта погибла?! Что она захвачена толпами беженцев и гомосексуалистов? Там всё дорого... Лучше в Канаду! Лучше за руль! Делать деньги! Да, света белого не видим, соглашается Миша, много работаем, но... Зато еще двести... триста... пятьсот долларов... ЕЩЁ. Это слово нужно высечь на могиле каждого иммигранта. Включая Мишу, который повествует мне о своих злоключениях. Я слушаю, не перебивая, и он, кажется, смягчается... Готов простить мне незнание тактико-технических характеристик «Поршпа», наконец... Итак, украинская жена в Канаде. Есть еще русская жена в России, но об этом позже. Миша приходит к ней попить чаю, а там как раз — сестра. Злая, сердитая, в депрессии... И вот они садятся за стол... все вместе... почти как семья настоящая! Пить чай с зефиром и пастилой, халвой и бубликами... с гречневой кашей, селёдкой и пельменюшками... с вареничками, с горчицей... обязательно нашей!.. настоящей!.. чтоб жопу пополам разрывало и дыхание на час прерывалось! И обязательно с кефиром. Кефир всему голова! Это вам всякий иммигрант из бывшего СССР в Канаде объяснит. За Путина он, иммигрант, или против, за Горбачева или Ельцина, еврей или татарин... Неважно! У всех них есть нечто общее. Кефир! Это невероятно вкусный, полезный и удивительный напиток... подарок всему миру от русскоязычных иммигрантов. От кефира можно просрать! стакан кефира на ночь и стакан кефира днем. Само собой, стакан кефира ночью. И

обязательно утром! Кефир лечит всё! Я даже как-то вычитал в местной газете, что семья иммигрантов откуда-то из Казахстана организовала в местном гетто в Монреаль-норд нечто вроде кефирного притона. Я поверить не мог! Думал, шутят. Кефир в неблагополучных районах города... Тем не менее, тем не менее... Свой кефирчик! Они его из-под полы продавали... гнали нелегально... Своих дилеров нанимали. Только представьте! Монреаль-норд задроченный, машины, наглухо запертые — чтобы магнитола не вырвали — ...снег скрипит, волки где-то в пригороде Лонгвэй воют... волки Апокалипсиса!.. падают с неба околевшие чайки... в общем, обычная зима в Монреале! А по утрам, когда мороз особенно невыносим... к стенам дюплексов и триплексов жмутся бледные тени и что-то предлагают шепотом... Девочек? Ганжу? Выпить? Как бы не так! Кефир! Кефир они предлагали! И кефир шёл. Очереди за ним выстраивались, кого-то даже ножом пырнули. Потом еще одна семья иммигрантская обзавелась рецептом кефира своего... в Канаде разве же жратва?!.. мусор жрут эти канадцы!.. то ли дело наши кефирчики!.. Начался передел рынка. Настоящие мафиозные войны. Премьер-министр Трюдо выступил с заявлением. Как обычно, юлил. С одной стороны, всячески приветствовал *diversité* и всё это говно мультикультурное... с другой напомнил, что центральное правительство жестко наказывает... Войска пришлось вводить в Монреаль-Норд! Бараки горели, бежали куда-то люди с поднятыми руками, мельтешили огни... звучали вопли... Все это по гостелевидению показывали! Но я мог и не включать. Мне Антон, киевский иммигрант, рассказал. Он в Монреаль-Норде жил... неподалеку от Анжу... Там квартиры дешевле на двести долларов! Антон работал водителем в компании по перевозкам, и от хронической усталости спал в траке... Пока сын его, — единственный «беляш» в местной школе — от одноклассников огребал. Срался без кефира! Что поделать, дети жестокие ублюдки! Следовало перевести мальчика куда-то в «русский» район... ну или

во франкоканадский хотя бы — «кваки» зачмырят, но без физического насилия! культурно! галантно! французскую школу не пропёшь! — но Антон и его жена считали, что двести долларов того стоят. Подумаешь, в унитаз ребёнка с утра окунут! Зато двести долларов в месяц это две тысячи четыреста долларов в год, и двадцать четыре тысячи за десять лет... За сто лет набегает двести сорок тысяч! А представляешь, сколько за тысячу лет можно сэкономить? Миллионером стать! Так уверял меня Антон, выходявший на погрузки в расклепанных джинсах а-ля Леонтьев. «Леонтьевым» его и звали! Он ухаживал за собой... пользовался дезодорантом... Всегда благодушен... Постоянно переживал из-за того, что я не хочу купить двух кур-гриль в магазине «Мини» за семь долларов на скидках. Что значит голоден. Что значит лень ехать 15 километров. Думаю, откройся где-нибудь в Антарктиде «точка» — как они это называют — с курами гриль по 6.50 за пару, — Антон бы рванул в Антарктиду. Моя страсть к мотовству его буквально доканывала... он постоянно объяснял мне, как экономия 10 долларов в год сделает меня богатым в исторической перспективе... Очевидно, он принимал меня за Китай какой-нибудь сраный! Это ведь только государства живут веками! Да и то не все! Русские идиоты, например, со своим государством не справились. Что им осталось? Разбежаться по миру и нагадить всем в мозг своими кефирам-и, геаженкам-и и прочим несъедобным дерьмом, от которого у меня вино в желудке кисло... Подавление мафиозных войн в Монреаль-Норде шло пару недель. Мы увидели кадры с трупами, лежащими на снегу, вмерзшую в лёд кровь и бульдозеры, давившие сотни тысяч бутылок с моментально схватившейся на морозе жидкостью. Причина всех бед... кефир проклятый! Но разве канадцы эти тупые понимают что-то в кефире... А вот Миша в этом разбирался! На то он и трудяга! Дальнобойщик! На них, дальнобоях — они так себя и называли!.. несмотря на некоторую двусмысленность!.. что-то от тайландского «боя» в этом мне слышалось, но я благора-

зумно помалкивал, это ведь все настоящие мужики!.. с гаечными ключами вместо рук!.. — вся Канада и держится. Сел за баранку, ногу в педаль, и вперед! Дрын-ны-ны-н! Вз-з-з-з... Наши, крепкие, вскормленные се-лѣдочкой и вспоенные кефиром, мужички. Пропахшие маслом машинным... осыпанные стружкой металличе-ской... в одежде в пятнах от бензина... С золотыми ру-ками! Прищуренными глазами! Само собой, водить никто из них не умеет и они вечно опаздывают. Один такой, Лёшик из Харькова!.. я даже подумывал в ФБР написать!.. они же тут и стучат друг на друга все!.. — опоздал привезти танковые двигатели на военную ба-зу. Там доставку ждали самолеты, в Афганистане как раз шла какая-то битва за какое-то ущелье... Названий не помню. В Афганистане последние три тысячи лет идёт какая-то битва за какое-то ущелье! Леша опоздал на трое суток, и этого хватило, чтобы остатки канад-ской колонны, попавшей в засаду где-то под Пандж-шером, добили самым отвратительным образом. Дура-чок даже не мигнул! Но у них на всё есть оправда-ния... у них всегда есть оправдания... В этот раз Леша решил, что он опоздал специально. Чтобы, значит, отомстить за агрессию НАТО против его родины... На самом деле засранец просто сделал 400-километровый крюк, чтобы отоварить талончики на скидки в каком-то местном Макдональдсе и заодно купить молока по 4 доллара за галлон, а не 4,25, как в Канаде. Экономия! Копейка рубль бережет! Так и Миша приговаривал, когда бублички, на распродаже в «русском» магазине — держали который чеченцы — купленные, в чай об-макивал. Мягкие, это чтобы зубы не повредить. Дан-тист в Канаде состояние стоит! А всё почему? Уже и сюда, в благословенную страну, доносится зловонное дыхание либерастии и государственного патернализ-ма... И здесь уже во власть прокрались покровители беженцев сраных! Только и делают, что Монреаль-Норд содержат, с черным населением. За счет кого? Трудяг из экс-СССР... таких, как Миша! Не для того он, честный дальнобой, налоги платит, чтобы бежен-

цев всяких сраных на его деньги кормили! Он, правда, не платит. Ну, налоги. Но потому и не платит, чтобы всякие Мумбасы и Нинбасы не наслаждались жизнью за чужой счет! Примерно так Миша разглагольствует, когда они с Олей и Наташей чай с бубликами и зефирки с кефиром попивают... Но грустно! Без настроения! Миша чувствует, что-то не так... Случилось что-то... Умолкает, наконец... Тут-то Наташу, младшенькую, и прорывает! Ах, бя, Украина! На, бя, Путин! Крым! Что Кремль сраный учудил! А он, Миша? Москаль клятый! Тварь подлая! Да в курсе ли он, что Путяра этот его делает, то есть, простите, робит?! Миша молчит напряженно... бублики переваривает... мысли думает!.. Всё явно пошло не так, как ему в смелых фантазиях казалось. Ну, знаете, как в порнофильмах... the sisters and the bully⁵. Вот примерно о чем ему мечталось, когда он в гости к своей даме шел на чаепитие с сестрой... А в это время Наташа продолжает Мишу размазывать, как повидо на хлебе. Долбит! А Миша в это время замер, поражённый, словно всё мировое сообщество — наглостью Vlada Putina! Ведь сказать-то ему нечего! Он не то, чтобы за Крым наш, он же телевизор не смотрел сегодня! И вчера! И позавчера, и вообще у него телевизора, если честно, нету. Ему некогда! Он же дальнбой! Он вскакивает в пять утра, быстро дрочит... Да, это полезно! Это для здоровья! Как кефира попить! Необходимо дрочить каждое утро, чтобы разминать простату! Я что, не знал? Ну, ещё бы! Каждый уважающий себя дальнбойщик знает, что простату нужно размять... иначе отсидишь ее!.. Мы мчимся в Америку, сокрушив по пути чей-то «Пежо»... кажется, машина была полна пассажирами... какая разница?!.. Некогда! Некогда!!! Быстро звоним в страховую, не останавливаясь, и мчимся навстречу завывающим «скорым». Миша, щуря слезящиеся глаза, хрипло каркает с частотой пулемета. Какие-то долбоёбы! Водить, мля, не умеют, мля! А за руль садятся!.. тут следует бы-

⁵ «Сёстры и мужичок» — англ.

зная, что его ждёт рейс в ночь, провел целый день на помойке. В Интернете! Искал новости про Украину... Путина... В конце пути уснул бесповоротно, за рулем... Так я впервые в жизни оказался в траке первого класса, перевернувшемся на трассе. Нас пронесло! Да, во всех смыслах, и обосрались тоже! С тех пор я привык. Даже дремать стал на заднем сидении, где подлокотники сняли... Вот и сейчас! Закрыв глаза после бутылки «Турнеля»... полюбил я это дешевое красное вино... Лежу, мечтаю... Даже эрекция появилась! А значит, я жив, жив пока... Хоть и труднее всё с постели вставать... собраться, как после нокаута хорошего... Я таких в детстве парочку заработал... Боксера из себя строил! Махался с тенью, вокруг груши прыгал. Как блоха в цирке! Бокс меня главному в жизни и научил. Нет ничего лучше поражения... когда на мате мягком лежишь и сил встать нет... уютно лицом вниз упасть... заваливаться набок с колена... не отозваться на глухой счет откуда-то сверху... Вечно они меня тормозили! Вставать заставляли! Я нехотя поднимался... Желтый свет, синий ринг, головокружение, руки, дрожащие после боя... я всё же вставал, бросал куда-то руки, бил куда-то, от чего-то защищался... даже очки какие-то получал. Соппротивление бесполезно! Лучше всего проиграть сразу! Но приходилось разыгрывать из себя что-то вечно... Вот и в Канаде я выстоял! Четыре года грузчиком отстоял, и вот, теперь могу себе позволить опускаться на дно только по выходным!.. Ишь, библиотекарешко блядский! Интересно, зарплата какая у меня? Сколько денег с налогов я их получаю? Дрянь бесполезная! Откупориваю вторую бутылку, выпиваю, сплю... В полудреме, пока Миша трещит сорокой что-то в адрес встречных машин... ах, как жаль, что в Канаде полосы плитами разделяют!.. уж он бы проучил парочку долбанов, на встречу вильнув!.. представлю, будто я маэстро, настоящий писатель, и член Академии Словесности Франции, месье Дени Лафёрь-

ер⁶. Вот я просыпаюсь в своей огромной квартире... в гигантской кровати формата «кинг»... Я и есть король! Король Солнце в пижаме и в Академии! Встал, распахнул окно... Легкий ветерок — в Монреале ветер чересчур сильный, но специально для меня, посла доброй воли Монреаля на встречах франкофонии, он становится легким ветерком... — ветерок слегка шевелит, гладит даже!.. волосы двух девушек, которые спят в изножье моей кровати, свернувшись калачиком. Блондинка и рыжая! Обозревательница журнала «Les presses» и редактор еженедельного журнала «La littérature quebecoise». Мы провели чудесную ночь! Мариуана... вино, теплая ванна... массаж... чудесный секс... под утро Мари — да, пусть будет Мари! — из «Lettres» рассказала нам забавный эпизод про какого-то озлобленного иммигранта... из русских... кажется, Vladimir... Все они Владимиры! Мари, затянувшись, поделилась, как встретила Vladimir на какой-то презентации... в книжном магазине «Лошадиная голова»! Там этот русский чересчур налегал на белое, после чего ушёл в себя... невнятное что-то на своем малопонятном французском мычал... Мы ухахатывались! Самое смешное, говорит нам Мари, она взяла у него адрес, чтобы прислать журнал со статьей об этом самом Vladimir... ну, как обычно на презентациях и делается, для виду!.. а дурак возьми, да и правда начни ей писать... Что-то ему для Совета по искусствам нужно было, для досье прессы... На грант какой-то надеялся... Vladimir попрошайка... Mais pourquoi vous me aviez gramistz...⁷ Мы смеялись как дети! Взорвали еще папироску и забыли обо всем... Мари и Джейн — да, я бы хотел, чтобы рыжая стала американкой — после целовались, положили головы мне на бёдра... Как я любил их! Как здорово жить в стране, где тебя и твое искусство понимают! О, Квебек! О, франкофония! О, искус-

⁶ Dany Laferrière, писатель, уроженец гаити, член Французской Академии, живет в Монреале — прим. авт.

⁷ Но ви же мыне абисщали — фр. с сильным акцентом.

ство... о-о-о-о-о-о-ОООО, блядь, я кончил! После мы уснули, девчонки посапывали... Кстати, мы с Vladimir-ом знакомы... встретились на фестивале в Сен-Мало...⁸ Чего уж, рыжую он мне и прислал! Славный малый, славный... Хоть и озлобленный! Но что поделат! Эмиграция это вам не фунт лиха! Чем-то обидела его сучка рыжая, американка, вот он и подослал её... Что-то она не то о нём в журнале своём независимом написала... Зато обо мне столько хорошего в этих журналах пишут! Вылизывают! Так много пишут и присылают!.. что я журналами задницу свою вытираю! Вот и сейчас... «Lettres québécoise» подтершись, спускаю воду... душ принимаю... а вот и девчонки! Снова целуются. Снова спускаю! После они немного танцуют для меня, пока я пью кофе, задумчиво в сад уставившись... Впереди у меня день полный удовольствий. Неги! Я буду читать «Журнал дё Монреаль»... что там у нас?.. бультерьер разорвал сына, мать, дочь, пришлось усыпить пса... Вот сучка! Я, в смысле, Дени Лаферьер, но это же я, Vladimir, название для своего очередного романа даже придумал. Что там на следующей странице?.. Груз кокаина задержан в машине у станции Сент-Матьё... Беженцы на границе... Снова Трамп! Опять Трамп этот, расист блядский!.. чмокает под столом рыжая. Она у меня в сексуальном рабстве. Таков уговор! Она мне отсасывает по утрам, а я за это пишу рассказы в журнал её сраный... Так мы уже пять лет сотрудничаем. Знаю, знаю, что порой фраз выше мне её друг, мой Владимир, только вчера прислал, но... я передумал! Решил, что мы давно уже друг друга знаем с рыжей сучкой! Как и все бабы, помешанные на писателях, она сумасшедшая! Разве нормальная баба с писателем жить станет? Только психованная! Ну, или редактор журнала литературного... Бог ты мой, да я даже названия его не помню! Какая разница! После того, как меня в Академию приняли, — сладко потяги-

⁸ Крупный книжный фестиваль во Франции — *прим. авт.*

ваюсь — я подтирки им свои могу раздавать! Чтобы, значит, они пытались понять глубокий смысл и символизм того, как моё дерьмо на бумаге запечатлелось! Постараться понять глубину месседжа гения! Академика Лафьера! Дело в шляпе, я сорвал куш. Ничего нового, конечно, не пишу. Зачем? Собираю дерьмо всякое старое... засохшее... дневники какие-то детские, воспоминания, блокноты, телефонные книги... Издаю все это! Как Мартин Иден! Слава нашла меня, а дар оставил. Да и был ли дар? А какая разница! Я же не Намели Атомб какая-то сраная... не хватало мне себя еще бабой представлять, её же между ног дрючат!.. с замашками психопатки. Сучка пишет и пишет, строчит и строчит... Словно нимфоманка, которая никак не натешится! Уже и денег заработала кучу. Миллионы! Шампанское самое дорогое хлещет! Как сыр в масле катается, пока я — между прочим, Академик! — в Монреале в сраном кондо с двумя поблядушками кантуюсь. У неё даже телохранители есть! Я их видел с ней на выставке книжной... в Безансоне... Я там — уже не Денни Лаферьером, сам собой я там был! — в реку полез, поздно вечером, когда никто не видел. Полное дно монет на мелководье. На дорогу обратную собирал! Как раз у меня что-то там из книг снова не купили... вернее, купили, но не заплатили. В который раз! Никто мне ничего и никогда не должен. Один я в должниках у мира. Но не когда я — Дени Лафьер со стояком до самого неба... от потряхиваний грузовика меня так разбирает... Хорошо в Безансоне было! Сытно! Кормили, и о ночлеге думать не надо! Хорошо бы вернуться! Но вряд ли, вряд ли... Одним лишь глазком я глянул на мир фестивалей и Золушкой в Канаду вернулся... Сам виноват! Нечего сучья под собой пилить... да, следовало лизать жопы энергичнее! Что-то про достоинство, прогресс и бядского Трампа написать! Прото, как он спать не даёт. И Путин! Поворачиваюсь на бок, лицом в грязную куртку Миши уткнувшись. А пожалуй... В жопу этого Дени Лафьера! Побуду я все-таки Намели Атомб. Пошёл на хер, монреальский по-

прошайка, академик Лафьер! Я — миллионерша! Сотни книг, тысячи книг. Миллионы франков, евро, долларов, ретушь на морде и, конечно, дерьмо вместо книг. Ну и что?!

Зато доходы! Так я превращаюсь в Намели Атомб и принимаю ванную из теплого молока, перед тем как встать под струю душа из шампанского. Вот так вот! Вечером меня ждет ужин в лучшем ресторане Безансона... рагу... отбивные... котлеты... гарниры... На хер гарниры! Надо освободить место для мяса! Буду глядеть на реку... как пьяница какой-то задроченный, брюки закатав, по дну каменистому бродит, монеты собирая... После вернусь в Париж частным рейсом... Позавтракаю на крыше своего дома с видом на Париж, а после дам отлизать здоровенному черному парню... Да я же им и буду! Да, Дени Лафлер! Трахну себя, как Намели Атомб, и всё это произойдет под аплодисменты Академии французского литературы. Мне вручат трость! Цыплят! Вина! Но, конечно, все это бредни. Мусор сбрасывают в Сену вот уже сотни лет... грязные воды реки, в которую отливают неудачники в стоптанных ботинках... Бродяги типа меня, Вийона или Селина. Наши мостовые давно уже опустились ниже уровня современных улиц. Туда, поближе к Сене. Там, в клоаке, мы и кричим, плюемся и трясем кулаками, как одержимые. А сверху на нас глядят улыбающиеся лица белоснежных Дени Лафлеров и Намели Атомб... О люди, братья, мы взываем к вам. Простите нас и дайте нам покой. Вот мы бредем печальной чередой. От жажды умирая у фонтана. Пока где-то под каменной плитой. Изголодавшийся писатель умирает сраный. Хохочу! Декларирую стихотворение! Миша в восторге! Писателишка напился! Вот потеха! Останавливается даже у винного, где я покупаю себе еще пару бутылок чего-то.

Сегодня вечером месье Дени Лафлер и мадам Намели Атомб станут блевать, сами не зная отчего.

vice versa

Илья Дейкун
**ВВИДУ РАВНОДУШИЯ,
В СВЕТЕ СТРАХА
АНАРХО-СУБЪЕКТИВИСТСКАЯ
ФИЛОСОФИЯ ВОЙНЫ**

[фрагмент]

В этих четырех главах показывается возможность философствования, исходя из паранояльной элиминации Другого. Двигателем рассуждения становится целостная рациональность, чьим главным фактором является постоянное уловление в собственной субъектности риторических, логических и концептуальных ухищрений. Лишенная Другого субъектность не только постоянно разоблачает саму себя, но постулирует саморазоблачение и недоверие главным стилистическим принципом рассуждения. В таком изолированном мире предпочтение не становится аксиомой, синтаксис логикой, удовольствие этикой, а субъективность индивидуальностью.

89

С точки зрения всех

Все может быть, и все-таки не все было, если все было, то не все осталось. Если бы все было представлено, тогда можно было бы доказать, что все равнозначно. Но так как что-то исчезло, то что-то преобладает. То есть некоторым необходимо усмотреть, что что-то исчезло, из-за вполне весомого подозрения, что чего-то уже нет, а кто-то находит в присутствующем косвен-

ные свидетельства тому же: целые дисциплины складываются из свидетельств, что что-то исчезло. Но предоставляя исчезнувшее, оно как бы делает его пребывающим. Во всех областях человеческого интеллектуального творчества содержится след прошлого, то есть или явная демонстрация замещения новым, или след подозрения об исчезнувшем. Единственное, чего там нет, это того, что исчезло. Исходя из этого делается вывод о том, что пребывающее сильнее, но также и вывод, что сильное может быть недолговечно. Тогда добавляют, что сильно то, что может активно заявить о себе сейчас. Но кто знает, что оно существовало достаточно долго?

Юваль Ной Харари в «Homo Sapiens» стремится примирить всех в том духе, что все живущие сейчас — это, в той или иной степени метисные, потомки выживших наций. Правда, победивший никогда не значит лучший. Скажут, что значит. Пусть иногда значит или всегда значит, что лучший. Тогда пусть те, кто сейчас активно могут о себе заявить, будут лучше тех, кто не может, и пусть будет градация наиболее актуального заявления о себе, как во времена Чаадаева говорили, что некоторые народы «исключены из хода истории». Как мы узнаем, что они существуют достаточно долго, а не возникли вчера и фальсифицировали документ о своей древности? Или если у нас есть метод для того, чтобы измерить долготу их существования, но его мешают применить, то это равносильно тому, что у нас нет метода, или тому, что мы применяем метод к фактам собственного мышления. И, тогда, почему бы не представить, вслед за некоторыми гностиками, что этот кто-то, стерший все, это богдемиург, а мы, которые помним что-то, уловили информацию от настоящего Творца. Это действительно хороший метод для лучших людей. Но, если и такая методология — методология, то с информационным и духовным барьерами, или без их ограничения, все сохраняется и все присутствует.

В мире присутствует все, если заметить это никак нельзя. А это равнозначно тому, что вообще ничего нет. Я как-то прогуливался со сторонником альтернативной хронологии в сторону Красной площади, где на Мясницкой улице стоит «Здание вычислительного центра КГБ СССР». Проходя, я спросил, что это за стиль. Он ответил, классицизм. Надо заметить, что здание это ничем, ни этажностью, ни облицовкой, ни членением фасада, ни формой окон, ни цветовым выделением цокольного этажа, абсолютно ничем не похоже на классицизм! И все-таки, я понял, в чем дело. Я подумал, что ведь это же ужасно скучно, если все, что «они» построили — это «классицизм». Я попытался спасти архитектуру следующим допущением: даже если все создано вчера или сто лет назад, всему этому ведь придали такой образ, что оно различается по форме, как если бы, в самом деле, история архитектурных стилей давала хорошую их классификацию! Другими словами, реальную или фальсифицированную картину разнообразия предоставляет история архитектуры, постулированное ей разнообразие адекватно видимому разнообразию форм. Но для моего спутника это прозвучало не очень убедительно, и я не понимал почему, до тех пор, пока не прочитал у Леви-Брюля в «Первобытном менталитете» о возможности онтологической классификации по происхождению. Копье племени X относится членами этого племени к своему искусству, а точно такое же, но сделанное европейцами — это уже предмет европейского искусства. Этому мышлению недоступно понятие «реконструкции», гипсового слепка. И все-таки, я не могу понять, в чем бы потерял Музей Ивана Цветаева, Пушкинский Музей, в глазах посетителя, воспринявшего мировоззрение туземца племени X? А, впрочем, в репродукциях, действительно, нет магии подлинника. Так что, охотно признаю, что скорее имею дело с такими наносными химерами разума, как «образец», «идеал» и «общее», когда наслаждаюсь копией, чем наслаждаюсь ей на самом деле.

Но тогда не меряемся ли мы с читателем силой воображения и осведомленности? Ведь любая ссылка — это та же копия, да и кто знает, на каком этапе здесь были заменены все буквы. К тому же воображение контраргументов, то есть изображение разнообразия мнений является аргументом только в пользу того разнообразия, которое я способен вообразить. Конечно, я рассчитываю, что ряд может быть продолжен, потому что перестановка всех главных утверждений в широком контексте — больше, чем лейбницианская алгебра мысли, так как он предполагал, что кто-то может быть прав. Так что метод исчерпания, точнее его эффект — это художественный и риторический аргумент, интригующий образ противоречивой антогонизирующей целостности, чем она сама.

Но даже логический аргумент, то есть перечисление разнообразия, или возможного функционального перечисления отношений в нем, ничего не доказывает, так как всегда можно добавить или выдумать еще одно звено и отношение, так как логика задания такого множества строится на возможности свободного фундаментального допущения. Это множество обычно вдохновляет три вида мысли. Скептик сомневается в том, что истина достигнута, он приводит противоположное положение, и доказывает, что оно с таким же успехом может быть истинным. Дисквалифицирующий аргумент против скептицизма состоит в том, что сам статус скептического аргумента сомнителен, так как нет никаких оснований с точки зрения скептика считать, что он к чему-то приведет. Релятивист считает, что все истины имеют место быть. Но он сталкивается с фактом того, что что-то работает, а что-то нет, и что-то лучше объясняет, а что-то приводит к излишнему умножению сущностей. Ему нужно сузить рамки релятивизма и усматривать как равноправные истины какого-то определенного качества. Эклектик открыто соединяет разные методологии и понятия, пользуясь ими для более полного познания истины или истин, но разбор и сбор в одну теорию разнородного делает эк-

лектиками нас всех, потому что коллаж все-таки подчиняется логике целого.

Кто же тогда тот человек, который принимает все истины, всех эклектиков, релятивистов и скептиков, всех их оппонентов, как не лжец, или не равнодушный к истине, или не бог?

У него не может быть собеседников. Он хочет разбрестись во все стороны, ищет всех мест и всех точек зрения. Его предают люди и слова, потому что они относятся с подозрением к тому, кто нашел им замену: каждый из них хочет быть необходимым. Скажем для удобства, что актуально быть всем — дело бога. Мнимо быть всем — дело лжеца или автора. Потенциально быть всем — дело каждого человека, и особенно искаателя истины. Истины как той, что очерчивает все собой, а не той, что одна из возможных, и даже не той, что устанавливается в рассуждении. Как следует из изложенной выше теологии, о смерти бога обычно никто не знает, но каждый скорбит о смерти человека. А между этими крайностями, если авторский бог походит на истину, то при смерти автора все скорбят о нем, как о человеке. Но если авторская истина похожа на бога, то его гибели, скорее всего, и не заметят.

Бог автора и автор бога находят свой нелепый конец таким образом, что никто не может понять, как к этому относиться, потому что все из покоя веков думают о чем-то большем, нежели простая смерть. О первопричине или о гении, о военных событиях или конце света, а бог давится кашей, и автор гибнет, спотыкаясь о бордюр. И что думать о судьбе, если они умирают, когда все смотрят в другую сторону: плывет корабль, пахарь ведет плуг, огромное море и небо занимают все пространство, лишь маленький всплеск воды обозначает падение Икара. Мы бы не узнали, о чем картина, если бы не подпись. По этой модели автор спасает бога. Но это спасение бесполезно, так как всегда надо спасать ближнего, а не собственные фантазии. Умиравший при спасении собственных фантазий совершает самоубийство. А оно ничего не доказы-

вает. Зато убийство или любая намеренная злокозненность говорит об отношении. Отношение к прерванному развертыванию мысли, которое этим как бы четче очерчивается и монументализируется во мгновении убийства, приобретает незаконченную завершенность. Это стало для меня первым удивлением: такого рода отношение покончило с мыслью таким образом, что она приобрела божественный оттенок.

Исходя из этого я занялся отношением, но не для того, чтобы умереть, а для того, чтобы выжить. Я пишу это во времена отношений, которые меня волнуют. По крайней мере, я не так равнодушен. Есть группа сильных, ослабляющих друг друга чувств, взаимоослабление которых я сознательно выбираю как обеспечение специфической позиции речи, атлет так выбирает участок, который ему по силам, и который чуть тяжелее, чем все предыдущие. Но на каждом этапе, при каждом объяснении, антиномии и предположении, я не могу сказать, что это мне по душе. Скорее «мне не по душе» что-то, и не по моей вине, а по не моей вине, или по скрытой виноватости, которой все пронизано, и которая мне не по душе. Это наибольшее, что я могу сказать, удерживая собственную субъективность.

Моя вина в Я

Мне не по душе. Если возможно удержать себя, когда фиксируешь собственную субъективность, я говорю «мне». Надеюсь, что эта не из тех вещей, которые пропадают, когда о них заговоришь. Хотелось бы мне думать, что я остаюсь собой, когда пишу «я» даже в дательной форме. И в этой книге есть глава о я, которую невозможно поставить в начало, потому что надо сперва оправдаться, почему «мне» так стеснительно.

Потому что законен вопрос о выборе времени: почему сейчас, во время войны, возникает эгоцентрическое «я»? Или правомерен пропозициональный вопрос: почему рядом с таким всеобщим и громадным явлением, как война, возникает частный и эгоцентрический

вы? Или вопрос доверия: кто этот «я», чтобы его слушать? Вопрос этоса речи: заслуживает ли автор экспликации «я», то есть достаточно ли этот автор авторитетен, чтобы говорить «я», «мне», «мое»? Научный этикет зиждется на «мы», романист прячется за хроникером, а вы говорите «я». Вопрос корпоративной принадлежности: многие эксцентрики говорят я, и подвергают сомнению ключевые постулаты современности, потому что верят в сенсационность своей находки. В своих глазах они переворачивают мир. Не из их ли числа ваше «я»? Можно множить эти классические вопросы. И в самом деле, нет ни одного произведения с предисловием, где бы автор не приносил извинения. С другой стороны, блестящий эрудит, едва не распавшийся от собственной многосторонности Сигизмунд Кржижановский, в одном рассказе подметил, что истина так стыдлива, что не отдастся коллективу. С ней встречаешься один на один, и когда передаешь, не говоришь, что это она. Тем более, сейчас мы знаем, что нет ничего более чванливого и кричащего о себе, чем насилие. Автор извиняется за то, что занимает время ложью. Да и я не претендую на истину. Но противоречие в том, что письмо предназначено закону, а закон, на то и вырабатывается, чтобы мы были освобождены от непостоянства частной речи. Причем, по справедливости, мне была оставлена прямая речь, но только не на письме. И понятно разочарованное непонимание жрецов и цензоров всех эпох, ведь они так заботливо оберегали меня от святотатственного попрания буквы, а я этим пренебрег. Тщетно доказывать, что под видом фантазии не всегда пишется закон.

Я извиняюсь, что очевидно, так как я пишу. Автор часто вторгается в текст для того, чтобы извиниться, но это не отменяет того, что каждый авторский текст — это апология собственной речи. Это не основной сюжет, но это основа сюжета. Поэтому собственно авторство появляется там, где твоя вина, раз ты приносишь извинения, и неизбежное наказание за нее не будут сразу стоять жизни, потому что следует допи-

сать. Авторство неизбежно появляется в тайне, потому что раскрытый и убитый автор, становится автором незаконченного, то есть незадуманного им произведения, так что убийца будет как минимум соавтором. Автор никому не виден, и даже при таком раскладе, его ремесло требует извинений! Сначала за расход папируса, затем за неканоничность мысли, затем за неподцензурность мысли, и всегда за то, что письмо и писательство относительно безопасно, пока оно тайно, и что его публичность произвольна и сущностно не необходима, так как само оборудование письма и его среда в какой-то момент начали предполагать одиночество, а зачернить имя и поставить другое не стоит труда. Ты виновен в своей безопасности, так как она роскошна, но ты виновен и в публичности, так как она излишня. Плутарх в труде «Чем больше прославились афиняне...» пишет о первом клерке в европейской истории: «Исократ истратил без мало-го три олимпиады на составление «Панегирика», и за все это время не участвовал ни в едином походе, ни в едином посольстве... пока Тимофей освобождал Элладу, Хабрий вел суда на Наксос, Ифцкрат громил под Лехеем лакедемонскую мору, и народ, восстановив свободу во всем государстве, добивался согласия с собой всей Эллады,— он сидел сиднем дома и мастерил из слов книжечку, на что истратил столько же времени, сколько понадобилось Периклу на постройку Пропилей и Гекатомпедона... Полюбуйся-ка на софистическую мелочность, которая способна погубить девятую часть человеческой жизни, что-бы сделать одну речь!»

Плутарх критикует Исократу за то, что он профессионал в собственной, им изобретенной профессии. Он тратит время на текст, который в монументальной задумке заменяет государственное строительство. Но нет никаких оснований отрицать, что и простая риторическая красивость не может быть достаточным оправданием для того, чтобы потратить на нее сколько угодно времени. В глупые времена, если в одном государстве бесполезная профессия вдруг изобретается бесполез-

ным человеком, возникает подозрение, что он работает на другое государство. Все времена глупые.

Но, возвращаясь к теме, есть какая-то несправедливость в том, что такая роскошь как извинение вообще есть. Извиняться на письме в рамках текста, когда идет война, это как уступить место в очереди раковому больному, чтобы он сэкономил время. Хотя раньше считалось иначе. Лицеисты пушкинской поры с доброй завистью смотрели на ряды уходящих на запад кавалерийских эскадронов. «Общество благоденствия» выросло из тех, кто в шестнадцать лет принял участие в первой военной компании. Юрий Михайлович Лотман, анализируя семиотику чести и социальную структуру дуэлянт-секундант и цепочечный механизм защиты достоинства, показывает, что Пушкин погиб в прямом смысле «невольником чести». Сама европейская честь, эмбрион гражданского самосознания, согласно школе анналов, прерогатива правосознания, пережившего опустошение от нескольких эпидемий чумы: если кто сражается на бесхозной земле за обедневшего сюзерена, то точно по своей воле. То есть возможность убить в ходе военных действий не только гарантировала действие права, но и была активной защитой правовой субъектности на личностном уровне. Гегель говорил, что «индивид, который не рисковал жизнью, может быть конечно признан личностью, но истины этой признанности он не достиг». Осознание истины признанности позволяет с полной уверенностью отстаивать ее, и, прежде всего, это прерогатива людей, осуществляющих самую очевидную причину признания, полагание за нее высшей цены. Я этим говорю, что роскошь извинения исторически противоположна экзистенциально необходимой ответственности за себя, то есть чести, я лишь хочу сказать, что, это порочное излишество симптоматично отсутствию уничтожением чести, является его индикатором, так что я или погибаю бесчестно, или глумлюсь. Если так, то кощунственно требовать глумления, а следует сразу переходить к делу, которое заключается в том, что я

погиб. Что естественно, так как я отказался платить нужную цену.

Пока я пишу, я погиб

Как подступиться к речи, в ходе которой ты погиб? Пока ты вел ее, ты погиб. Или, не так, я сижу на стуле, пишу «я», и меня подсекает автоматная очередь. Я выпало из военного внедорожника, патрулирующего только захваченную местность. Лежало неделю, сгнило. Спустя какое-то время туда приехал его отец. Он с трудом опознал труп своего сына. Этот я был моим другом. Когда я думаю о его смерти, я думаю, что хрупка та связь в теле или та совокупность клеток органа, которая составляет мою субъективность. Если туда войдет пуля, мысль внезапно оборвется, и мозг и кровь покажется в разъеме хрупкого черепа. Разрывная пуля превратит мою голову в яйцо пашот.

Я хочу обратить внимание на то, что пока я, как достойный наследник Исократы, извиняюсь, я умер. Я хотел бы тебе сказать, что умираю, но я умер. Меня казнили. Я кастрирован. Я покончил с собой из-за стресса, к которому не был готов. Это усиливающийся стресс, о котором от лица персонажа Уинтерборна писал в «Последнем герое» ветеран первой мировой Ричард Олдингтон. Которого я не успел прочесть, потому что погиб. Этот стресс такого свойства: сначала ты как будто можешь его вытерпеть, ты держишь спину прямо, но со временем он аккумулируется так, что губит тебя каким-то таинственным образом. Ты немножко подсушиваешься изнутри, и потом обнаруживаешь, что подсушились только твои нервы, а мышцы, наоборот, стали крепче. Но теперь ты не можешь ими управлять. Все твои действия становится судорогой, пальцы скрючены и сам ты на себя не похож.

Могу ли я победить, при том, что я умер? Я же жив! Точнее, я-то жив, и ты жив, раз ты умер, а я выжил, или просто жил. Говорят, во мне ты жив. Жил бы я в себе, если бы я победил? И, действительно, почему я

умер? Я же выжил. Вот он я. Да, пришлось убить. А как иначе? Если бы я не убил я, то я бы убил я. А теперь я живет во мне, хотя я плевать на него хотел. Поэтому я особенно хочу сказать, что я пишу это, когда я убит. Как это происходит со мной? Все взрывается или расщепляется, заряд в гильзе выталкивает пулю по нарезному стволу на скорости 900 метров в секунду. И я оказываюсь ранен, но я не чувствую, что ранено. Я лишь чувствую, что что-то во мне меня не слушается. И теперь я слабею. Но это не больно. Я лишь думаю, что не дай Бог мне попасть в плен. Но я чувствую, что то ли не решусь выпустить очередь в себя, то ли это медленно теряет смысл. Я упрощаюсь, будто пьянею. Вдруг то, что я начал бояться подступающей боли, меня пугает, и я перевязываю себя чем-то подручным. А потом вдруг окончательно слабею от чего-то. И умираю. Умереть легкое дело. И в этом нет никакой трагедии, потому что я особо не почувствовал ничего. А умирать не страшно. И никто никогда не говорил, что страшно. Стоики строили на этом свою аргументацию: где есть смерть, меня нет. Следовательно, смерти для меня нет. Война, в каком-то смысле, это лучшая эвтаназия, так как это хороший способ непроизвольно, как бы не по своей воле, избежать длительной, действительно страшной смерти в клинике, или от болезни. Кюблер-Росс в книге «О смерти и умирании», озаглавленной с истинно психологической жестокостью по стадиям принятия, описывает ряд бесед с неизлечимо больными. Предсказуемо, что особо болезненна молодая смерть, или ранняя смерть, когда ты заботился о жизни. Сложно умирать, когда ты видишь, что твой сосед остается жить. Мирное время, в этом смысле, чудовищно несправедливо в том, что жизни людей подчас радикально разнятся в плане продолжительности, тогда как высшая справедливость войны в том, что мы можем погибнуть вместе и в одно время.

Впрочем, хоть мы погибли вместе, я и я погибли отдельно. Ты мне пишешь, а я не отвечаю, потому что я погиб. И я тоже погиб. Я погиб. И я погиб. В этом

фишка. Потому какая разница, что я пишу, раз я погиб. И даже нет разницы «как» я пишу, раз я погиб. Но раз я пишу, а другой я погиб, причем и третий я погиб, но на самом деле всегда первый и единственный, я бы сказал, «мамин» я погиб, то важно все-таки и «что» я пишу, и «как» я пишу. Об этом речь. Важно также, в каких обстоятельствах я пишу, где я пишу. То есть, прежде всего, важно к чему я говорю «я», в чью память? По ком? И могу ли я говорить о себе? Не стоило бы нам всем, в самом деле, молчать, раз я погиб. Не было бы это высшей справедливостью? Или справедливо то, что я никого не слышу, когда меня нет?

Или я не достоин всеобщего молчания, и даже, по крайней мере, своего собственного? Я был ужасным человеком, противным вонючим мужланом. Меня убили и ногой столкнули в канаву. Я не достоин всеобщего молчания? А ведь я «мамин я». Но ведь и мамы у меня не было. Мама моя была шлюхой, и я сам приблюдок. Некрасивый с рождения, бездарный. Ничем не интересовался, и умер на бесполезной войне. И меня прибили нелепо. Уселись, плюнули и столкнули ногой в лужу дерьма. Тут уж нечего сказать. Я недостоин и верховного молчания, даже мое собственное молчание стало моей незаслуженной наградой. Может тогда стоит обо мне говорить? И даже неважно, что и как. Даже в более свободном жанре плутовской чернухи. Но, если так, то кто ты такой, чтобы говорить о моем поруганном трупе? Или если надо мной надругались, кастрировали, прижгли то место, и потом, скулящего, пристрелили, обо мне может говорить любой шут?

Я могу оправдываться, что я не ты. Я — это я. Какое мне дело до тебя? Поэтому я и я, что я не ты. Но когда я думаю о таком лейбницианском ходе, что ты и я, как замкнутые на себе индивидуальности со своей топологией, темпоральностью и интенсивностью бытия, сами одни справляемся с выбором из бесчисленных альтернатив, и погибаем все в одном бытийном возрасте с одной и той же славой и смыслом, я думаю, что это замаскированное равнодушие. Впрочем, впол-

не вероятно, что монадология справедлива не только в метафизическом, но и в физиологическом плане, и на уровне внутренних гормонально-химических процессов, некое эндорфинное счастье вполне определенным образом влияет на самоощущение, темпоральность, топологию, самосознание. Я думаю, я был бы счастлив умереть в те моменты, когда был счастлив. Вообще, разве счастье не тот момент, когда мы могли бы спокойно умереть? Лучшим ответом на твое я было бы открытое равнодушие Штирнера, который не говорит о тебе вообще, а занят только собой. Но я уже занят и тобой, и как бы упрекаю себя от твоего лица, потому что мне жалко тебя, хотя я бы ни за что не встал на твое место. Я тебе не завидую, но будь я тобой, я бы завидовал себе, и то только потому, что я был бы своим тобой. Остается надеяться, что будь ты мной, ты бы также завидовал себе.

Предательство старого новым

Другое оправдание: писатель пишет, чтобы не жить. Он приостанавливает жизнь ради ее фиксации, отстраняясь от нее. Наблюдатель исключен из жизненной событийности. Но какова жертва в том, что он уподобляется богу, и в изъятии себя в безопасную бессобытийность разделяет с ним неустранимое удовольствие внеаходимости, а также свободной игры возможностей, а также экстремальной культивации собственной субъектности.

Говорят, что бездействующий — единственный, кто имеет совесть. Иными словами, у него единственного хватает времени ощутить себя, и по аналогии прозреть в другом ту же ранимость. Впрочем, бездействующий действует всеми способами, кроме самых очевидных: взгляд льнется к миру, ум реконструирует, обоняние, осязание и вкус претерпевают раздражение от обрушающихся на рецепторы потоков частиц физического мира. В микроскопическом аспекте последнее становится вызовом целостности тела, возвышен-

ным в наиболее биологизаторском из подходов к смерти. Садистские проколы, которые ум бешено наносит всему, закольцовываются в причудливые вихри метафизики. И зрение требует собственной видимости, обращается на себя самое по правилу Мерло-Понти: видящее — это бывшее видимое. Именно поэтому писатель пишет, чтобы умереть, потому что лучше всех понимает — и это совесть — тщетность действия, на которое обречен. Именно поэтому он же хочет и воскреснуть, так как считает это действие наиболее приемлемым. Мишель Фуко, если верить его последнему биографу Полю Вену, писал, чтобы избыть старого себя, подобно компульсивному читателю или болтуну.

Эти я, эти мы должны, если не убить друг друга, то избыть себя до остатка, чтобы начать другое. Эта хорошая альтернатива. Томас Манн в «Волшебной горе» говорил, что всего одно путешествие сродни чтению множества книг, поэтому, когда я отправляюсь в путь, я делаю то же, что и когда открываю книгу, но только по-настоящему. Путешествие, чтение, выбалтывание, преобразование индивида — модальности неприкаянного человека, и в этом смысле они противоположны инициативным модальностям преобразования, путешествия и даже чтения субъекта, разделяющего свою свободу с коллективным телом. Но речь не о противопоставлении общности и личности, речь о личности в обществе и личности самой по себе. Или даже скорее о вине обособленной личности перед той, которая осталась. О своеобразной тоске по дому, даже если дом — это жаждущая собственной смерти толпа. Я думаю, что такое предательство есть часть грандиозного сдвига, заключающегося в прогрессе, это какой-то из флангов, на котором, как и везде, новое предаёт старое. В самом деле, испокон веков тот, кто уходил из общества, был обречен, или очень сильно рисковал, и в любом случае не вызывал зависти. Леви-Брюль в «Первобытном менталитете» замечал, что уходящий вовсе умирает для остающихся. И вот, вдруг, ты можешь бежать в безопасное место, а экономисты, например,

Банерджи и Дюфло в «Экономической науке в тяжелые времена», приводят данные по миграции, и доказывают, что куда бы ты ни бежал, это место будет лучше. Понятно, что они это пишут, чтобы ты сбежал. Но даже тот, кто остался, известный поэт, так и не понял, куда его «привел рок событий», обуявший общественное тело. Большое имеет собственную гравитацию, и чрезвычайно поэтичные мифы всеобщих движений не могут не пленять своей красотой. Эстетика доказывает, что прекрасное истинно, и я как эстетик признаю это в полной мере. Поэтому возникает вопрос. Если бегущий в письмо чувствует не только удовольствие, но и вину, так что вынужден оправдываться таким образом, что он не живет. То, во-первых, что он может сказать, не живя? А во-вторых, какое право, если он знает, о чем пишет, имеет он переставать не жить?

Ролан Барт говорит, что писатель пишет поверх других книг, текст взаимодействует с текстом, каждое слово — цитата, и не живя, он как бы имеет доступ к свидетельствам, которые также не говорят ни о чем, кроме других текстов. Михаил Бахтин считает, что любой жанр как эстетическая форма произведения включает в себя живой диалог с другим, каждое слово — ответ. Но тогда получается, что, если автор не живет, то он не касается меня, а если живет, то тогда произведение и письмо представляет собой, наоборот, особую интенсивность общественной жизни наедине, то есть привилегию и роскошь, в которой мы чувствуем себя виноватыми. Как же нам освободиться от порицания? Или в отягощенности виной есть своя привилегия козла отпущения? Кто-то должен быть контр-примером порочности индивидуальной речи, ее неадекватности, неуместной приватности, «мелкотемья». Но тогда она сливается с порочностью субъективного выбора, причем он заключается в том, чтобы ничего не предпринимать. А разве это самое плохое решение? С другой стороны, если ты ничего не предпринял, когда все предпринимают, то есть вовремя, в то время, ко-

гда каждый сдвинулся с места, или хотя бы куда-то подался, ты рискуешь так же, как если бы ты остался стоять, когда все пригнулись. Я, правда, думаю, что такой писатель ничем не отличается от рыцаря во всем его достоинстве и облачении. Его перо — действительно, оружие, которым он защищает сам себя. Но я не вижу, почему бы я должен был защищать себя, потому что не вижу оппонентов. Если все двигаются, то надо идти, если стоят — стоять, если кто-то идет, а кто-то стоит, надо и идти, и стоять. И в том же духе. Вопрос только, о чем я говорю? Макс Штирнер в «Единственном и его собственности» много говорит о цензуре и свободе книгопечатания. Я пишу, потому что я культивирую таким способом свою мысль, и неважно не только, что кто думает по этому поводу, но и какие последствия моя идея будет иметь. Даже если я стану идейным родоначальником нового Холокоста, я не должен ограничиваться чужими предписаниями, так как моя мысль — это моя собственность. Я и никто другой, ничья другая мораль и будущее не касаются меня. Я привел это соображение только для того, чтобы сказать, что я придерживаюсь противоположной позиции. Все имеет право на мое, на мою мораль, на мое понимание истины, на мое будущее. Единственное, что мне принадлежит — это усвоение и согласование всего и всех в себе. Нюанс в том, что цензура здесь лишь часть всего, и всякая цензура как глубочайшая философия запрета, имеет место в многоголосьи и полифонии, которая влияет на меня. Но тогда и виновность моя, раз я ее выявил, должна компенсироваться достоинством и жертвой. А последнюю нельзя избежать, так как витализм клерка должен уравниваться стремлением рыцаря к ратной смерти. И все-таки невозможно не увидеть, что я лгу, так как я не умер, хотя если бы я умер, то я бы также солгал.

Я бы хотел, и вижу в этом единственную часть, прийти ко всем и представить перед всеми противоположное и другое. Я марафонец, который прибежал с посланием до окончания битвы, и когда его спраши-

вают, какое это послание, он отвечает, что это не послание о битве, и даже не послание о себе, хотя и от своего лица, но лишь собственная речь о многообразии посланий, некий каскад взаимных опровержений, внутреннее несогласие которых ему «не по душе». Как должны воспринять речь такого марафонца? В городе, куда прибывают сотни и тысячи марафонцев. Его и вовсе должны этим упрекнуть: если ты хочешь быть услышан, говори в приемлемой форме, о том, что интересно нам. Наши марафонцы приносят вести о том, что развивается у них на глазах. Они говорят о разном, как если бы видели разные битвы, или не видели ничего, но благодаря тому, что их многообразие делает их речи логически несущественными, они действуют. Действенность их речей интересна и уместна в эпоху, когда все мы готовы подняться с мест. Но ты, во-первых, хочешь все согласовать, а, во-вторых, говоришь от своего лица и о себе. Не значит ли это, что ты следуешь правилу: если хочешь жить, избавься от вещей, которые однозначны, или достигни однозначности, которая невещественна, или даже несущественна. А в общем, сделай все, чтобы не действовать словами. Твоя полифония ничем не отличается от плутовства плутов, вроде Педро де Урдемаласа или Тиля Уленшпигеля. И не скрывается ли за твоим внепартийным красноречием и всеобщей ангажированностью простой страх остаться тем же самым, страх быть?

Образно выражаясь, лис ты или шпион? Лис меняет маски. В обществе лис непонятно, кто человек, а кто демон. Современный же шпион — это просто другой человек. В обществе шпионов постоянно бушует революция. Если лис — мифологема, то шпион — это философема. Лис и шпион предполагают разные интеллектуальные модальности одного и того же сюжета, поэтому лис неспособен выполнять роль спящей ячейки. Возможно ли автору, объятую мифологией собственной жизни, приобрести такую политическую сноровку, чтобы притвориться шпионом? И не будет ли изображение шпионом доверия, той необходимостью,

которая позволит, если не лишить это недоверие ореола, то хотя бы комически снизить, ради любви к ближнему, который неизвестно, человек, лис или шпион?

Дарья Дугина
ЧЕТЫРЕ ЛОГИЧЕСКИХ МИРА⁹

Веселье зебры

Давным-давно жила-была грустная зебра. Она была настолько грустная, что даже плакала. Родители у нее погибли, остались только друзья, но они были очень грубые, злые, и все время обижали бедную зебру. Зебра была белая, от грусти.

Как-то раз зебра пошла прогуляться в новый лес, в котором она еще не была. В самом начале леса она встретила доброго оленя. И говорит: «Олень-оленьюшко! Давай поменяемся окраской!» А олень говорит: «Давай! Я согласен.» И начали они веселиться, прыгать, кусаться. И не получилось. Зебра расстроилась и пошла дальше. Видит — панда.

И говорит: «Давай поменяемся окраской!» «Давай!» — сказала панда и улыбнулась. Они веселились, прыгали, бегали. После этого веселья зебра поняла, что такое быть веселой. Посмотрела она в речку, и смотрит: одна полоска появилась. Пришла она опять к панде.

И говорит: «Давай еще, еще, еще, поменяемся окраской!» И так они стали счастливыми, пресчастливыми. И поэтому у зебры теперь есть полоски.

⁹ Миниатюры, написанные Дарьей Дугиной в возрасте 9-10 лет и опубликованные в детском сетевом журнале «Барсук» (www.barsuk.lenin.ru).

Классный «прикол»

(пересказ сюжета из Ералаша)

В этом рассказе будет рассказываться о том, что бывает с теми, кто говорит слово «прикол».

Были в одном районе города Москвы (в районе Жуково) ребята. Брат и сестра. Сестру звали Юля, а брата Артур, нет, Миша. И все время Миша говорил: «прикол», да, «прикол».

Как-то раз, когда Юлечка любовалась на себя в зеркало, Миша подошел сзади и начал показывать рожи. Потом, когда Юля повернулась, Миша сказал: «Классно я тебя приколов?»

А когда Миша играл в игрушки, Юля взяла и заколдовала, чтобы Миша превратился в бабочку. И взяла она это... как это называется... ну, чтобы ловить бабочек... и поймала Мишу. И приколола его себе в коллекцию. И говорит: «Классно я тебя приколола?»

Про доброе солнышко и злую коварную тучку

Жило-было облачко. Черное. У него были глазки. Такие смешные. Оно было такое все время веселое и очень злое.

И как-то раз оно плыло по небу. И видит солнышко. Говорит: «солнышко-солнышко, ты почему все время на этом месте стоишь? И не пляшешь? Пойдем-пойдем, ты попляшешь... Пойдем ко мне в гости, и выпьешь чайку и вина». И пришло солнышко к тучке. А тучка приготовила яд. И солнышко бедненькое отравилось. Бедное-бедное солнышко! Оно подумало, что это чай или напиток какой-нибудь, и выпило. И заняла это место тучка. И прогнал ее сын солнышкин. И сказал: «Нельзя тебе тучка находиться, ты же черная и весь мир погибнет! Я взамен буду моего солнышка». А облачко сказала: «Не пущу тебя на мое месточко. Я отравило твоего папочку и теперь я буду править небом».

Рассердился сын солнышка, и сказал: «Не жить тебе тучка», и сжег эту тучку.

Так всегда бывает, что выигрывают добрые люди.

Итальянская шкатулка

Жила-была одна семья, она была совсем небогатая, она была простая, совсем простая семья. Она жила в деревне. А в городе жил один небогатый человек, звали его (какое-нибудь итальянское имя) «Барашек». Как-то раз пошел он в лес, да и заблудился. И видит, стоит деревня. Деревня старая, почти заброшенная. Зашел он в один дом, и говорит: «Дайте мне хлеба-соли», а старуха отвечает: «Нет у нас ни хлеба, ни соли» (а это была та семья, про которую мы говорили в начале рассказа). Вдруг приехал муж ее, старухи. И говорит: «А кто это такой?» Он говорит: «Меня зовут Барашек». Хозяин говорит: «А что тебе надо от нас?» А он говорит: «Хлеба-соли, я заблудился.» Он говорит: «У нас много хлеба-соли», а жена говорит: «Нету у нас, мужичок-мужичек, хлеба, соли, да воды». И говорит: «Старуха, ты что обманываешь!» Рассвирепел хозяин и выгнал злую старуху из дому. И стали жить Барашек да хозяин счастливо и весело. А хозяин подарил Барашку красивую шкатулку, а жили они в Италии.

Четыре логических мира

На свете есть 4 логических мира. 2 из них американские и один нормальный. Есть еще один мир, он русский, он православный. Этот мир наш, в котором мы живем. Но некоторые люди хотят быть мондиалистами. Американцы хотят завоевать нашу территорию и убить всех людей. А еще американцы хотят украсть у нас полезных ископаемых. И русские люди как околдованные продают их, т.е. полезных ископаемых. А американцы выступают в этом плане очень хитро.

Они хранят полезных ископаемых. Если у нашего континента не будет в недрах земли полезных ископаемых, то наша земля взорвется. Например, американцы создали ужасное кафе — МакДональдс. Там дают отраву для детей. Настоящий мусор для детского желудка. После этого дети болеют язвой и другими болезнями. И я хочу вам сказать, что быть крутыми это грех большой.

Легенда о корешках дерева

Раньше на земле деревья росли без корней. Великаны их втыкали. И все время вокруг деревьев ползали змеи. Как-то раз греческий бог разозлился и послал окаменение. Все окаменели. Через два года все опять стало как прежде. Но змеи остались каменными и так появились у деревьев корни.

Злые мозги

(рассказик)

Жили были на свете на планете Чучкабук злые злые мозги. Хотели они уничтожить все планеты и остаться одни и завладеть властелинством Вселенной. Но трудно это им далось (даже можно сказать, не далось). Решили они убить или сделать тупыми планету Землю. Нет, но не смогли они это сделать. Отупили они всех, кроме одного человека. Тот человек был не простой, а умный. Часто читал он книги в библиотеке, не смотрел телевизора, и был очень приятный и вежливый человек. И решили злые мозги уничтожить библиотеку. И поставить ему много книг о злых мозгах. Не-ет.. Он был не тупой, он был не глупый человек. Не читал он таких книг. А читал он только Достоевского, Тургенева, Толстого. И вдруг он увидел, что все люди на земле страшно-страшно отупели. Так, решил действовать против злых мозгов. Но у него был еще один барьер.

Он не мог выйти из дома. Пришлось ему прыгать с балкона. Как-то он пошел в библиотеку и зашел в один зал. Зал был пустынный, пустынный, никого там не было, и что-то очень-очень страшно гудело... Ну все, тут-то он и все понял... Тут он и понял, с кем надо бороться. Начал думать-думать. И вдруг он услышал страшный пронзительный визг... А этот визг и был убийством. Он убил мозгов — злых мозгов!

м е р т в ы й

т е к с т

Люсьен Рёбате
РАЗВАЛИНЫ¹⁰
Глава II

Предисловие переводчика

Я с радостью представляю русскому читателю главу из яростного памфлета выдающегося французского писателя Люсьена Рёбате “Les Décombres”. Эта книга, названная “бестселлером Оккупации”, и недаром. За пару недель 1942 года было продано 60 000 экземпляров и поступили заявки на покупку еще 250 000, которые не было возможным удовлетворить из-за военного дефицита бумаги, как утверждал издатель Дёноэль. Причина такого интереса публики в содержании “Развалин”, истории падения Третьей Французской Республики, написанной его непосредственным свидетелем. Журналист правого издания *Je Suis Partout*, один из лучших музыкальных и кинематографических критиков Франции, памфлетист, литератор, мобилизованный в саперы в 1940 году, Рёбате увидел изнанку кулис режима во всех ипостасях. И ярко, талантливо, и порой несправедливо — но умеренность никогда не была его добродетелью — описал крах Франции. Книга стала благословением и проклятием Рёбате. Именно она сделала его знаменитым,

¹⁰ Lucien Rebatet, “Les Décombres” (Les éditions DENOËL, 1942). Перевод с французского Владимира Лорченкова.

но и она же стала одним из главных документов обвинения против Люсьена после войны на процессе “чис-ток”. Рёбате приговорили к смертной казни, после его помиловал Де Голль и писатель отправился отбывать пожизненное заключение в тюрьму Клерво со своим соратником по фашизму, журналистике, и просто другом, Пьером-Антуаном Кусто (в тюрьме они напишут книгу “Диалог “побежденных”). В начале 50-х годов 20 века Рёбате помилуют и он выйдет на свободу, где напишет множество книг, включая “Мемуары фашиста”. А еще — один из лучших романов XX века “Два штандарта”, о котором Франсуа Миттеран скажет “... есть два типа людей: те, кто читали “Два штандарта” и остальные”. Увы, “Двум штандартам”, которые хорошо знают, ценят и любят знатоки литературы, не суждена была широкая известность у публики. Всеми виной “Развалины”, роман-памфлет, послуживший причиной “проклятия памяти” Рёбате. Что же французское общество не простило писателю его, как утверждается, публицистического запала, ярости, ксенофобии и ненависти ко всем: французам, чехам, полякам, евреям, либералам, масонам, церкви, женщинам, мужчинам, самому себе? Скажу так: французское общество не простило Рёбате того **успеха**, который получили “Развалины”.

После 1944 года на издание книги был наложен запрет. Его сняли лишь в 2015 году. И за первую неделю увесистый том в 800 страниц и ценой в 50 евро... смели с прилавков, скупив 5 000 экземпляров (что вызвало негодование “левой” прессы). О чем это говорит? Люсьен Рёбате — *enfant terrible* матушки-Франции, но именно что *enfant*. Кровь не водица.

Мы предлагаем вашему вниманию вторую главу “Развалин”, в которой Рёбате рассказывает, как издание *Je Suis Partout* вышло из-под контроля бывших хозяев, издателей Файярдов, и стало фашистской газетой номер 1 во Франции.

Остается добавить, что переводчик не разделяет взглядов Люсьена Рёбате и категорически осуждает

все формы ксенофобии, включая самую омерзительную и постыдную её форму XXI века — русофобию.

О переводчике

Владимир Лорченков (родился в 1979 г.), писатель и переводчик. Живёт в Монреале (Квебек).

Полностью перевод книги можно найти на страницах Владимира Лорченкова:

<https://boosty.to/lorcencov> (для читателей из России),

<https://www.patreon.com/lorcencov> (для читателей за пределами России).

... Мой друг Робер Бразильяк¹¹ уже написал набросок истории “Je Suis Partout”¹² во время его зимовки на поздней линии Мажино. Так что я не собираюсь делать это снова. Добавлю к нему лишь несколько строк.

“Je Suis Partout” был создан около десяти лет назад Артемом Фаярдом, очень изобретательным и искусным торговцем бумагой¹³. По его задумке, это должен был быть правый аналог большевистской газеты “Lu”, публиковавшей еженедельно обильный обзор иностранной прессы, своего рода младший брат, но более серьёзный и разговорчивый, “Кандида”. Забавно думать, что стать главным редактором чуть было не доверили сначала русскому еврею Андрею Левинсону¹⁴, человеку

¹¹ Robert Brasillach, 1909-1945, писатель, поэт, расстрелян за коллаборационизм — *здесь и далее прим. перев.*

¹² Издание правых, в годы Оккупации безоговорочно поддержало Германию.

¹³ Joseph Arthème Fayard, сын журналиста и издателя, Jean-François Arthème Fayard (1836-1895), основавшего издательский дом La Librairie Arthème Fayard, унаследовал бизнес отца.

¹⁴ Андрей Яковлевич Левинсон, 1887-1933, русский театральный и художественный критик, историк балета и ба-

почти безграничной культуры, удивительно острого ума, проникшего во все мысли Запада, что не мешало ему иметь в корне иудейский характер — единственный еврей, с которым мне было бы жаль порвать отношения. Но у него хватило ума вовремя умереть. Если правда, что у каждого антисемита есть свой еврей, то мой мертв... Пьер Гаксотт¹⁵, блестящий антиреспубликанский историк, лотарингец из Ревиньи, один из главных создателей “Кандида”, был, в конце концов, предпочтен Левинсону.

С появлением Леона Блюма «Je Suis Partout» на долгие месяцы перестала быть чем-то вроде еженедельника “Time”, эрудированного и черствого, адресованного господам в возрасте, крупным акционерам, благородным промышленникам, сумевшим первыми найти в этой газете уважительного защитника своих кошельков. Исследования производства никеля или последних финансовых доктрин Соединенных Штатов постепенно уступили место статьям на тему внутренней политики, тон которых продолжал повышаться. Уже 6 февраля фашизм “Je Suis Partout” пах горелым как для правых, так и для левых и не хватало ему только крупного отлучения от “Action Française”. Передовицы Пьера Гаксотта искрились духом и всем пламенем самых разумных страстей. Будь то объяснение механизма налога, экономического метода или союза, бичевание дурака или поиск в истории уроков нашего последнего политического кризиса, ничего не было написано яснее, живее и на более четком языке. Едва ли можно было в этот период упрекнуть Гаксотта в чем-то, кроме чрезмерной заботы об экономической ортодоксальности, финансового баланса, заботы о колебаниях 3 процентов, всего, что он унаследовал от своего

летний критик, переводчик, не принял революцию и эмигрировал.

¹⁵ Pierre Gaxotte, 1895-1982, историк, правый политик и журналист, не принял немцев, в 1953 стал членом французской Академии.

хозяина, весьма капиталистического капиталиста Жака Бенвиля¹⁶.

Один из редакторов “Journal de Rouen” Пьер Вийет, искушенный во всех коридорах в том числе властных, подписывал псевдонимом Dorsay парламентскую колонку, полную таланта, здравого смысла и энергии¹⁷, в которой предшествовал ему очень короткое время продавшийся Эмиль Бюре: потому что Бюре также сотрудничал с “Je Suis Partout”. Несколько молодых чертей скребли зубами по углам, и всех их ввел в профессию Гаксотт, которому наскучил академизм. Благодаря его дружбе я с самого начала считался соавтором. Первой большой частью моего вклада было обстоятельное и добросовестное исследование положения иностранцев во Франции, никоим образом не ксенофобное, но с выводами расизма, который еще не очень хорошо был известен под своим именем. Гаксотт, правда, благоразумно провел резцом по негритянскому и еврейскому отделениям¹⁸. Но случилось это в робкие времена 1935 года.

Весной 1936 года мы имели в руках с “Je Suis Partout” весьма замечательный инструмент полемики, который приносил нам около пяти су за строку, но который нам оставалось только употребить с растущей энергией для дела о санкциях для всей грязной предварительной кухни Народного фронта. Настолько хорошо употребить, что богатые торговцы дома Фаярдов, охваченные сильными муками, увидев у власти людей, которых одна из их газет только что всю зиму поносила с позором, решили просто напроосто отменить “Je

¹⁶ Jacques Bainville, 1879-1936, журналист, историк, один из лидеров “Action Française”.

¹⁷ Среди директоров и редакторов издания, закрывшегося в 1944 году, нет Пьера Вийета, очевидно, речь о человеке, занимавшем пост выпускающего редактора или заместителя; известно, что некий Pierre Villette, чья дата рождения неизвестна, умер в 1966 году в Испании, 7 мая 1947 года этот человек был заочно приговорен к смерти в Париже.

¹⁸ То есть сократил текст.

Suis Partout” и разместили в её столбцах объявление о закрытии. В тот же день “Je Suis Partout” возродился из пепла вокруг стола на пьедестале на площади Данфер-Рошро. Мы были там вместе с нашим старшим Дорсаем, четыре самых младших члена команды: я, Пьер-Антуан Кусто¹⁹, Жорж Blond²⁰, Макс Фавалелли²¹ и самый юный зять Фаярда учил нас, **«что Je Suis Partout не был, как мы знали, бизнесом, и неудача националистов сделала издание отныне бесполезным»**, короче говоря, оставалось только похоронить газету. Мы яростно выплескивали свой гнев и отвращение. Мы умоляли нерешительного Гаксотта не уступать, не принимая его возражения, что газета не может появиться снова после объявления о своей смерти. Мы отказывались на полгода, если так надо было, от нашей скромной зарплаты. Мы послали к черту все привычки и обычаи. Мы ничего не хотели знать, кроме того, что нельзя нам принять такое унижительное и нелепое поражение, исчезнуть перед Блюмом, по указу двух-трех позеленевших от страха мещан, даже не посоветовавшихся с мэтрами, настоящими владельцами их газеты. Наше упорство, которое было прекрасно, победило. В следующую пятницу мы напечатали освобожденный от всех ограничений номер, более энергичный, чем когда-либо.

Через несколько месяцев “Je Suis Partout” весело, заново и bravо шагал с небольшим отрядом новичков:

¹⁹ Pierre-Antoine Cousteau, 1906-1958, журналист, писатель, коллаборационист, приговорен к смерти в 1944 году, помилован, друг и соавтор Люсьена Рёбате.

²⁰ Georges Blond, 1906-1989, писатель, моряк.

²¹ Max Favaelli, 1905-1989, журналист, кроссвордист, после войны работал на ТВ, в 1939 году призван в армию и прекратил сотрудничество с правой прессой.

Шарль Леска²², наш администратор, величественный, улыбающийся, политическое мужество которого ничто не могло поколебать, Ален Лобро²³, прибывший из газетных кругов тулузского радикализма, поначалу принятый с некоторой неохотой, но вскоре вошедший в число самых убежденных и самых активных наших сторонников. За несколько недель своей резкостью и напором он прославил нашу театральную хронику, где сменил еврея с ассирийской бородой Бенджамина Кремье²⁴. Робер Бразильяк, которого я знал давно, так как он уже работал литературным критиком для «Action Française» в возрасте двадцати трех лет, согласился стать нашим главным редактором, немедленно предоставив нам сотни идей, весь свой день и все формы неиссякаемого таланта. Чтобы не быть слишком неполным, я не стану рисовать портрет, который хотел бы нарисовать, — этого мальчика, такого разнообразного, этой прекрасной и обольстительной души... Но это далеко выходит за рамки этой книги. Давайте сохраним это для моих воспоминаний о старости... Поскольку здесь речь пойдет только о политике, я скажу, что Бразильяк пришел к фашизму через поэзию, которая, как он скоро докажет, была не худшим способом понять Это.

«Базовая» команда «Je Suis Partout» работала в атмосфере независимости и дружбы, о которой Робер

²² Charles Lesca, 1887-1948, издатель и журналист, франко-аргентинец, сын баска, правый, тридцатые годы XX века провел во Франции, сотрудничая с правыми, приговорен заочно к смерти в 1947 году, не выдан Аргентиной, где и умер в 1948 году.

²³ Alain Laubreaux, 1899-1968, правый журналист и писатель, приговорен к смерти заочно, укрылся в Испании.

²⁴ Benjamin Crémieux, 1888-1944, литературный критик, переводчик, выходец из семьи, обосновавшейся во Франции с XIV века, участник Сопротивления, погиб в Бухенвальде от истощения. Интересно, что перед этим он был заключен в тюрьму Френ, где после крушения Третьего Рейха сидел за коллаборационизм автор книги, Люсьен Рёбате.

Бразильяк говорил лучше всех в “Notre avant guerre”. Все решения принимались на веселых и ожесточенных консилиумах, которые мы называли Советами. Гаксотт вмешивался, когда это было необходимо, своим спокойным голосом, с легким изъясном на кончике языка, чтобы уточнить определение, поправить слегка авантюрную интерпретацию события или высказывания. Он был на восемь или десять лет старше нас, но, к счастью, выглядел почти так же молодо. Мы окружали его, мы любили его и мы слушали его, слушали как старшего брата, полного мудрости, облеченного нашей слепой уверенностью, этого человечка хрупкого здоровья, но такой твердой мысли, с черными, блестящими иронией глазами и вздернутым носом, с физиономией восемнадцатого века, в котором он, казалось, родился, вкладывая жизнь и дух в самые суровые сюжеты, — я помню его лекцию об управлении во времена Людовика XV, которая была также восхитительна, как мудра, и более насыщена, чем три факультета вместе взятые — и со всем этим обладавшего озорством школьника, имеющего пристрастие к цирку, балетам и фарсам американского кино, Гаксотт, столь дорогой, который должен был стать таким разочаровывающим, горько оплаканным потерянными компаньонами.

Пьер-Антуан Кусто, смуглый и мужественный бордосец, кипящий энтузиазмом под флегматичной оболочкой, бывший житель Нью-Йорка, где он даже был пролетарием²⁵, каждую ночь работал до четырех часов утра в геенне серенького журнала. Он с радостью освобождался от своих ограничений дома и отомстил СССР и Рузвельту, которых никто во Франции не описал лучше. Кусто высмеивает литературу. Однако он из всех нас тот, чей приговор прочнее всего обоснован. Жорж Блонд, чьи первые романы раскрыли трезвый и проницательный талант, подарил нам с бесконечным

²⁵ Кусто служил в США в газете в отделе распространения экспедитором, он попал в тяжелую финансовую ситуацию, будучи брошен девушкой, за которой поехал в Штаты.

юмором галерею антифашизма, предпочтительно буржуазного, которая предвосхитила *Travelingue* Марселя Эме²⁶. Еще у нас был Камиль Феги, жизнерадостный, первоклассный журналист, которого мы звали Жан Мейоннас. Он был нашим связным с Жаком Дорио²⁷. Он был бывшим коммунистом, совершенно новым явлением в группе соотечественников. Анри Лебр²⁸, тоже один из главных активистов дориотизма, но выходец из доктрины Морраса, каждую неделю высаживался из Ла-Ферте-Милон, чтобы под именем Франсуа Дотюра в упрямых и спокойных статьях описывать абсурдное устройство Версальского государства, Югославии, и прежде всего Чехословакии, его “любимой мозоли”, немедленного расчленения которой он требовал. Со мной еще был Ральф Супо²⁹, полемист, бывший капрал марокканских стрелков, живой репертуар всего фольклора французской пехоты и флота, самый большой милитарист нашего отряда; верный и обаятельный Робер Андриво³⁰, закоренелый фашист и сентиментальный тенор наших банкетов; и снова доктор

²⁶ Marcel Aymé, 1902-1967, писатель, драматург. Речь о романе, который публиковался в газете и представляет собой ядовитую сатиру на левую Францию.

²⁷ Jacques Doriot, 1898-1945, коммунистический и фашистский политик; в 1924-1934 член политбюро ЦК Французской коммунистической партии; 1936-1945 лидер ультраправой Французской народной партии, коллаборационист.

²⁸ Henri Lebre, 1894-1976, журналист, директор “*Cri du peuple*” и редактор “*Je suis partout*”, писал под псевдонимом François Dauture.

²⁹ Ralph Soupault, 1904-1962, карикатурист, правый, активист Народной партии.

³⁰ Robert Andriveau, писатель, коллаборационист, автор книг “*Le Jour d’après*” и “*Glaces sans tain*”, биографические данные в открытом доступе отсутствуют, многие из этих людей или подверглись гражданской казни после войны или скрывались, чем обусловлена такая загадочность.

Поль Герин³¹, универсальная личность, пышнобородая фигура в капюшоне, революционер наилучшего склада, человек действия и знания, один из самых замечательных фтизиатров в Париже, превосходный журналист, энергичный оратор, один из лидеров, предназначенных для подлинно национальной и социальной перестройки его корпорации, и, как будто случайно, один из бывших роялистских активистов, слишком одаренных и пылких, чтобы не подвергнуться остракизму Морраса.

“Je Suis Partout” обязана своим вторым рождением истинно фашистскому порыву: желанию освободиться от боязливого и отвратительного капитала, стремлению к тесному сотрудничеству в абсолютно общих идеях, и духу энтузиазма и молодости. Во всяком случае, это была единственная во Франции газета без директоров, без значительных фондов, без малейшего рабства, управляемая и принадлежащая небольшой банде, которая ее писала.

Мне не нужно подробно останавливаться на смертельных врагах, которых мы нажили слева. Было также естественно, что такое революционное предприятие вызвало менее открытую, но более пагубную враждебность богатых буржуа, которые ненавидели наш порядок так же сильно, как и самые худшие подрывные действия левого беспорядка. Они притворялись, что считают нас причудливыми или крикунами. Нашим категорическим осуждениям либерализма всякого рода они с профессорской иронией противопоставляли сложность дела. Наше неуважение к деньгам возмутило их до глубины души. Ревность молодых нищих! Увидим, насмехались они, как наши принципы станут сопротивляться нескольким красивым бракам и успеху продаж в книжных магазинах.

³¹ Возможно, Paul-Émile-Alexis Guérin, 1868-1947, профессор ботаники, фармаколог, доктор наук, дуайен факультета фармакологии парижского университета.

Пока же нам с жалостливыми улыбками говорили о неизбежном банкротстве. Что не помешало тому, что с ничего не стоящим и уже ничего не значащим названием, несуществующими ресурсами, несмотря на герметический заговор молчания вокруг нас, наша газета после двенадцати месяцев вольной жизни достигла своей новой клиентуры, удвоила тираж, в четыре раза увеличила подписку.

Но в конце года правления Блюма было необходимо, чтобы наше призвание утилизаторов и гордость за нашу независимость не подверглись вторжению безмерного скептицизма перед политическим горизонтом нашей страны.

Народный фронт в действии оказался очень разочаровывающим для любителей генеральных сражений. Из глубины лож, этих ризниц Республики, он, очевидно, получил благоразумный совет. Леон Блюм с помощью придилок и талмудических пророчеств стремился поддержать миф социалистической эпохи. Но мы чувствовали, что его удерживает собственная трусость, крупная буржуазия французских евреев, опасавшаяся возрождения антисемитизма; крупная христианская буржуазия, поспешившая с ним примириться; светская мелкая буржуазия гражданского общества, состоящая из слуг и учителей, полных ненависти, но слишком ограниченных, чтобы добиться начала настоящей подрывной деятельности.

Мы все еще были свидетелями старых партий, жестикулирующих ролями. Обноски были просто облачены в более агрессивные цвета. Злодеяния Народного фронта объяснялись не столько волей, сколько жалкой неспособностью его марионеток. Однако, какова бы ни была причина, эти злодеяния были достаточно серьезными, чтобы разбудить страну.

Финансы были разграблены, экономика разграблена, грубейшая демагогия заменила все правила правления. Внешняя политика, где бесхозяйственность имела еще более зловещие, но менее непосредственные последствия, была сильной стороной этих господ, тер-

риторией, где они никогда не ослабевали, где они могли предаваться всем своим прихотям и всему своему сектантству, где их продажность становилась наиболее прибыльной, где они в изобилии собрали аргументы, брошенные нетерпеливым пролетариатом, который начинал подозревать комедию. Французская дипломатия велась как муниципальные выборы в радикально-социалистическом кантоне, где нужно выслать трех монахинь. Франция разыгрывала гротескную пантомиму перед всей Европой, показывая дырявый и испорченный зад, когда ей приходилось скалить зубы, заявляя, что не допустит **того** или **инного**, и кувыркаясь в люк для кукол, когда **то** или **инное это** случилось. Она полоскала себя отварами женевских сущностей, любовно ласкала зародыши далеких народов и с горечью отказывалась под безумными предложениями от союза, который великий народ на пороге предлагал ей³².

Возможно, нам не хватало поджогов заводов, изнасилований хозяйских дочерей. Но картина уже была достаточно красноречивой. Вырвавшийся из недр восточных гетто при объявлении о расовой победе, роился еврей, в своем изначальном состоянии грязи и самонадеянности, способном вызвать отвращение у чистокровного француза. Происхождение бедствия, поразившего нас, явилось перед нашими глазами. Серп и молот не прятались и были знаками отличия мировой революции. Три социалистические стрелы шли по прямой из «Рот Фронта» Германии, привезенные в мусоре эмигрировавших маланцев, со знаменитой формулой «Хлеба, мира, свободы», которую нужно было только перевести, с отвратительно сжатым кулаком³³. Шествия у Бастилии³⁴ проходили по тем же рядам, что и шествия на Красной площади в Москве: с теми же аксессуарами, знаменами, шарами, плаката-

³² Речь о немцах.

³³ Символ «Рот Фронта».

³⁴ Площадь Бастилии, поскольку тюрьма разрушена до основания со времен Революции.

ми, испачканными пролетарской символикой, фотографиями большевистских вождей гигантского формата, носимыми как иконы. Когда правительство Франции проводило свои заседания перед народом, в Луна-парке или где-либо еще, оно проходило под портретами Карла Маркса и Либкнехта. Несколько стилистов оказали честь нашим несчастным коммунистическим лакеям своей предвыборной агитацией, которая действительно поражала. Но все остальное было предоставлено Кремлем, от фотомонтажей до гениального лозунга о двухстах семьях³⁵, где евреи служат корабельниками.

Как будто апологетика еще не была достаточно полной, Испания показала трагическое зрелище страны, которая слишком долго терпела эти чужеземные варварства, и показала военный и кровавый путь спасения. Наши министры тут же воспользовались этим для завершения своего образа, страстно встав на сторону обреченных на неизбежные потери отбросов и убийц, усугубляя и затягивая бойню, они, пацифисты, антимилитаристы, гуманисты, своим подлым оборотом наемников и оружия³⁶.

³⁵ Политический миф и теория заговора, по утверждению республиканцев, и чистая правда, по утверждению их оппонентов, теория “200 семей” состоит в том, что 200 семей владеют примерно всеми богатствами Франции. Интересно, что в 1950 году в тюрьме Клерво, где Рёбате и Пьер-Антуан Кусто станут отбывать пожизненное заключение за коллаборационизм и напишут книгу “Диалог “побежденных”, в которой упомянут эту концепцию.

³⁶ Франция не то чтобы поддержала республиканцев, она просто затягивала войну в Испании, грея на ней руки, как и многие другие страны, от США и Британии до Германии, Италии и СССР, в целом это была политика “греть руки у горящего дома соседа”, позже такую же политику вёл Франко в отношении Франции.

Однако этого было еще недостаточно, чтобы пробудить французскую буржуазию от сна сурка. В первый день правления Блюма мы могли видеть, как почти вся его пресса принимала, — конечно, со вздохом, но таким робким! — грядущий «опыт». Даже среди самых смелых любой намек на еврейство Блюма оставался запрещенным и неуместным. Армия считала, что политические действия еще не предусмотрены уставом. Кроме того она заявила, что очень довольна, так как мсье Даладье был оставлен ей и за него проголосовали, не моргнув глазом, роскошными фантомными кредитами. Католицизм, восхищаясь тем, что Жан Зай³⁷ еще не сжег бесплатные школы и не организовал половое воспитание маленьких девочек эксгибиционистами из гетто, проделывал перед клоунами и негодьями власти те упражнения плоского позвоночника, ради которых его и сломали так давно. «L'Aube»³⁸ мог написать в апреле 1937 года, в разгар упадка блюмерии³⁹: «Это правительство, которое мы ненавидим, тем не менее является представителем власти, освященной Богом». И это был не парадокс презренной тряпки, а верно выраженная мысль высочайшего французского прелата, кардинала Вердье, этого старого торговца из Оверни, который весной 36 года признал за Омэ и Иудами⁴⁰ из министерств божественное право.

³⁷ Jean Zay, 1941-1944, политик, в Третьей республике отвечал за образование, убит правой милицией под конец войны.

³⁸ Газета, существовала с 1932 по 1951 гг.

³⁹ Правления Леона Блюма.

⁴⁰ Здесь Рёбате нападает на буржуазию и евреев, Омэ — персонаж романа Флобера, которому в “Диалоге “побежденных” Кусто-старший и Рёбате посвятят целую главу, Иуда — намек и на предателей и на иудеев.

Грандиозный фарс протянутой руки коммунистов⁴¹ нашел среди воинствующих католиков и служителей церкви не только пособников, но и пламенных доверчивых людей. Жак Маритен⁴², постригший волосы раввина на четыре части во имя Святого Сердца⁴³, мобилизовал всю теологию и всю метафизику, чтобы оправдать Израиль и даже предложить его нам в качестве модели. Этот синагогальный томизм имел, как и многие другие вещи, которые, кажется, витают в загородной духовности, самое тривиальное объяснение: совместное ложе и биде, союз нашего философа с еврейкой Раисой⁴⁴. Я вспомнил эту маленькую подробность в одной из своих статей и квалифицировал Маритена, как положено, как осквернителя расы, *Rassenschander*. Через несколько дней в так называемой национальной газете мне ответил трехцветный подвижник⁴⁵, задыхаясь от ужаса и клеймя мое гитлеровское язычество.

⁴¹ Якобы доброжелательного отношения к оппонентам в виду правой угрозы.

⁴² Jacques Maritain, 1882-1973, философ, теолог, один из главных идеологов томизма своего времени.

⁴³ Маритен был агностиком, потом протестантом, позже обратился в католичество, он не был евреем, здесь Рёбате или ошибается, или имеет в виду супругу Маритена, русскую еврейку, поэтессу и философа Раису Уманцеву, которая родилась в Ростове-на-Дону, выросла в Мариуполе и обратилась во Францию, куда её вывезли родители в 1893 году, в католичество. “Разделить волос на четыре части” во фр. — довести дело до мельчайших деталей, иными словами, Рёбате хочет сказать, что Маритен пришел к христианству, хорошо разобравшись в иудаизме.

⁴⁴ Формально Раиса Уманцева уже не могла считаться еврейкой, так как приняла католичество, чего ей не простили родители-хасиды. Примечательно, что глава “Аксьон Франсез” Шарль Моррас, не простив Рёбате “Развалин”, будет после войны намекать на еврейское происхождение жены Рёбате, открытой антисемитки, румынки, в девичестве Попович.

⁴⁵ То есть сторонник Республики.

Благоразумные люди, которые свели баланс со своей совестью, подарив на Рождество самым несчастным из своих рабов старые трусы, позволили шайке Блюма украсть у себя единственную действительно человеческую и логичную реформу — реформу оплачиваемых отпусков и больничных, праздники, явно немислимые своей рутиной и убожеством. Сразу появилось, кому прямым образом подражать демагогам и самым торжественным образом заявлять о своем страстном интересе к «пролетарскому классу». Ничто, несомненно, не раздражало меня больше, чем эта лавина «социальных» исследований, систем, исповеданий веры, которые пришли после битвы, этих книжных комбинаций синдикализма, корпоративизма, мешанины из Маркса и Латур дю Пена, этих *решительных решений*, провозглашаемых литераторами или клириками, которые ни разу в жизни не выпивали с настоящим рабочим.

Можно было бы поклясться, что гигантский заговор работал над тем, чтобы косвенными средствами нейтрализовать сопротивление, на которое французы вполне естественно могли рассчитывать. Ни один случай не казался христианину более драматическим и ясным, чем случай в Испании. Тем не менее мы видели, как прославленные и даже нетерпимые католики, такие как Мориак⁴⁶ и Бернанос⁴⁷, становились самыми яростными и оголтелыми критиками Франко. Эти благословенные защитники расстрельщиков Христа и подрывников монастырей⁴⁸ умело маскировали свои настроения и интеллектуальные извращения под ка-

⁴⁶ François Mauriac, 1885-1970, писатель, член Французской академии, лауреат Нобелевской премии в области литературы, кавалер Большого креста ордена Почётного легиона.

⁴⁷ Georges Bernanos, 1888-1948, писатель, монархист.

⁴⁸ Сам Рёбате ярый антиклерикал, о чем не раз говорил сам, вспоминая своё детство в колледже при монашеском ордене маристов, Сент-Шамон, и использует аргумент защиты церкви, которую презирает и ненавидит, лишь как инструмент полемики.

зуистические алгебры. Их клиентура также имела опыт в этих упражнениях. Прибавьте, что эти страшные доктора — как и для осуждения «Аксьон Франсез» — говорили от имени Бога, веры, таинств, церкви и гремели всеми громами догматов над головами своих противников. Таким образом, их религия снабжала их только несправедливым оружием. Болезненная гордость этих странных учеников Иисуса не допускала ни малейшего изменения их доводов и обвинений. Можно сослаться на полубезумие Бернаноса, который и в худших обстоятельствах остается достойным звания писателя, с его книгами, затуманенными парами алкоголя, но вдруг пронзенными мощными, яростными или черными страницами. Другой, человек в зеленом сюртуке, богатый буржуа с утрюмым лицом, как поддельный Греко с его отварами Поля Бурже⁴⁹, вымоченными в протухших семени и святой воде, этими колебаниями между Евхаристией и борделем для педерастов, которые составляют единственную нить его прозы, а также его совести... является одним из самых непристойных негодяев, которые выросли из христианских ублюдков нашего времени⁵⁰.

Удивительно, что мы даже не знали, как заставить его замолчать. Это было наименьшее наказание для такого ублюдка. Он и ему подобные подпортили гнилью множество умов, настолько посредственных и мягких, что я действительно удивляюсь, чего можно было ожидать еще. Они внушали сомнения другим. Они заставляли своих противников тратить драгоценную энергию, время и талант на бесперспективные ссоры. Своими притчами, своими крестными знаменами, своими святыми чернилами и своим литературным высокомерием они самым вульгарным и под-

⁴⁹ Paul Bourget, 1852-1935, писатель, академик, натуралист.

⁵⁰ Возможно, речь о Моррасе или Гаксотте, но это неточно, очевидно, речь о ком-то из правых, кто играл роль громоотвода народного гнева.

лым образом были лишь агентами политической диверсии.

Национальные партии из-за их раздробленности и страсти к грызне стали главной мишенью для таких маневров.

Когда лиги были распущены, они без единого жеста подчинились закону врага, и какого врага! шимпанзе Альберт Сарро⁵¹ самого бесчестного и непоследовательного персонажа Республики.

Демократия только что дала им своей победой урок, не первый в своем роде, но, безусловно, самый суровый. Она достигла согласия, где в одну шеренгу встали самые разные ее фракции. Людей справа поражала такая неразборчивость между москутёрами⁵² и старыми консерваторами радикализма. Так мы еще не поняли, что секрет всех этих людей в том, чтобы договориться об одном чувстве, об одном принципе. Демократия, волей-неволей, следуя за непреодолимым течением времени, решила и установила свою диктатуру. Цель этой диктатуры была гнусной или тщетной, ее лидеры глупы или неспособны. Но система существовала, она имела силу закона, унося с собой последние остатки тех знаменитых свобод, которые самые хладнокровные защитники Третьей республики всегда признавали одним из ее самых завидных преимуществ. Хозяева дня поспешили поставить эти свободы под замок и ключ. Некоторое время оставалась только свобода печати, слишком крупный кусок, чтобы сразу проглотить его. Но это не вина Леона Блюма.

⁵¹ Albert Sarraut, 1872-1962, правовед, радикал-социалист, отвечал за управление колониями.

⁵² От "мушкетеры" и "Москва", на французском "моску", так кто-то остроумно окрестил сторонников Москвы в политическом поле Франции, в литературе слово встречается впервые в 1933 году.

Справа всегда говорили о целесообразности или опасности авторитарного правительства. Когда мы весь день слышали, как нас в другом лагере называют фашистами, мы утомлялись, перечисляя причины и нюансы того, почему мы таковыми не были. Что, впрочем, не уменьшило шумихи официальных встреч.

Все левые получили такое же партийное воспитание, которое, по темпераменту коммунистов, делало жестких социалистов мягкими или более или менее марксистскими радикалами, но создавало для них все тот же более-менее общепризнанный идеал: именно марксизм, и та нежность или снисходительность, столь часто наблюдаемая у весьма чѣрствых радикалов, к коммунистической России, которая, без сомнения, немало согрешила, но осталась страной великой надежды, эгалитарной и «прогрессивной»⁵³, восходящим солнцем их религии⁵⁴. Правые, за исключением нескольких законченных моррасовцев и независимых из нашего сорта, дышали либеральным образованием — небольшой капитал католицизма и патриотизма, которым вы могли воспользоваться только по весьма важному случаю — и с любовью готовили ряды умеренных, пропитанных мелким индивидуализмом, в то время как правые мозги самых умных разжижались в бесконечных, бесплодных и анархических дебатах.

У правых было немного людей дела — совсем немного — лишенных всякой доктрины, несколько превосходных доктринеров, не способных представить себе и тени действия, дилетантов, которым наскучила чернь, людей блестящих, но без денег, богатых людей, которые были очень напуганы, но которые неохотно бросали маленькую милостыню своим защитникам,

⁵³ Так они жаргонизируют — *прим. Рёбате*.

⁵⁴ Намек на то, что французы рассчитывали, что СССР станет воевать за них, но не вышло, поскольку ставленников французских масонов в СССР, «февралистов», убили сначала агенты немецкого влияния в 1917-1920, а потом немецких уничтожили английские в 1937, управление оказалось потеряно.

наконец, толпа травоядных буржуа, необразованных, трусливых и жадных, где сир де ла Рок без особого труда набрал свою знаменитую армию Пёзофё⁵⁵. Мы видели там агитирующих, жужжащих, громоздких, ничтожных или подозрительных мелких персонажей, возглавляющих «партии» из пятисот человек, среди которых двести полицейских. Потребовалась бесстрашная откровенность, чтобы назвать это оппозицией.

Если попадался молодой и даже храбрый мальчик, скукавший в той или иной из этих часовен, если он нажимал необдуманно на болевую точку, если он сделал ошибку... старики-хранители теорий, вместо того чтобы направлять его, бросались прочь. Например, представители «Аксьон Франсез», которые высмеивали женевский суд без жандармов, никогда не могли и не хотели понимать необходимость Святого Веме⁵⁶, который бы санкционировал их политику. Эпизод с «Кагулем»⁵⁷ показал, что националисты могут найти в своих

⁵⁵ Peuseu-feux, т.е. «милостивый» и «огонь».

⁵⁶ Sainte Vehme, выездные трибуналы от короля и графа в средневековой Германии, которые рассматривали еще раз на местах уже вынесенные приговоры, чтобы уравновесить местную, порой коррумпированную, юстицию.

⁵⁷ Cagoule — тайная организация в 1930-х годах. Изначально Organisation secrète d'action révolutionnaire nationale (Osarn), т.е. секретная организация революционного национального действия. Организована правыми, исключенными из правых организаций за экстремизм. Образованная в 1934 году после попытки путча «Кагуль» занималась политическим террором: например, ей приписывают убийство итальянских антифашистов Карло и Нелло Росселли в 1937 году, убийство Дмитрия Навашина, банкира и экономиста. Навашин принял революцию и был близким другом министра Анатоля Монци, признавшего СССР и организовавшего перекачку средств из СССР во Францию. Навашин во Франции представлял СССР и, много зная о начальном этапе создания этой страны и роли Франции в этом печальном для русских событии, очевидно, был весьма неудобным свидетелем для политической элиты Франции. Навашина шесть раз пырнул штыком Жан Филиоль, счастливо доживший до 1976 года.

рядах всех головорезов, которых им так глупо не хватало, и что стоило им поражения.

Но их предпочли исключить, бросить во все полицейские ловушки, куда их неизбежно должны были завести их изобретательность и изоляция. Трусливое рвение правых, в первую очередь моррасовцев, отрицать и подавлять кагуляров, когда они были обнаружены, научило нас наперед о более пятидесяти годах политических исследований о надеждах на реакцию, которые оставались для нашей страны.

Некоторые догадливые умы и любители истории охотно повторяли в начале 1936 года: «Мы ждем, когда грянет революция. Значит, мы не знаем, что она началось два года назад? В 89 году мы совершили противоположную ошибку⁵⁸. Все думали, что революция закончилась, когда она только начиналась».

Ладно. Но никто не говорил, что Франция получила революцию, которую страна заслужила, по своему подобию. Это была одна из тех болезней, которые перестают иметь свою обычную вирулентность, когда поражают ослабленный организм, который почти не реагирует. Симптомы менее заметны, дело затягивается. Это не мешает больному быть на пути в морг. В моральном и физическом состоянии Франции бесхозяйственность блюмеска⁵⁹ была для нее эквивалентна двум годам настоящего большевистского террора.

Очевидно, убийство совершено в интересах Третьей республики, что еще раз подтверждает тот факт, что фашистские партии могут быть использованы для “грязной” работы властью при показном их, фашистов, этой властью осуждении. В 1937 году, после обвинения в попытке путча (намеченного якобы на ноябрь этого года), организация разгромлена.

⁵⁸ Настоящая революция по мнению Рёбате началась в 1791 году.

⁵⁹ Игра слов, Рёбате смешивает “гротеск” и “блюм”.

Маленькая банда “Je Suis Partout” была одной из немногих здоровых и крепких ячеек в стране, способных бороться с бациллой. Эти месяцы 1936 и 1937 были для нас золотым веком инвектив.

Мы всё поняли. Великая опасность была уже не за нашими границами, а внутри нас. Франция находилась в процессе разрушения себя изнутри. Её нелепые хозяева доводили свою злобу до крайности, понося всех соседей.

Мой старый друг полковник Алерме⁶⁰, бывший глава военного кабинета Клемансо, морпех на протяжении двадцати лет своей жизни, один из самых непогрешимых провидцев, которых я знал, очень часто говорил: «Интересно, чего ждут немцы, ведь могут войти в наш дом как к себе, прийти и опрокинуть мне всю эту хрень на голову». Я воскликнул: «Все-таки-с! Французская армия-с! линия Мажино-с!».

«А я вам говорю: жопой сядут на голову, и как только захотят!» — ответил морпех.

Но, к нашему счастью, фрицы, похоже, не хотели чего-то подобного, по крайней мере, не выглядели так, словно этого хотят. На этот факт мы возлагали достаточно твердые надежды, по крайней мере, на определенное время⁶¹.

Чем более глупой, сутулой была Франция, тем более осознанными мы себя чувствовали. Арифметика Мораса: «Гитлер враг №1», действовала нам на нервы. В

⁶⁰ Marie Marcel Étienne Michel Alerme, 1878-1949, коллаборационист, приговорен к смерти в 1944 году, но спокойно жил, “скрываясь” в Париже до самой смерти в 1949 году.

⁶¹ То, что мы перевели как морпех, Рёбате обозначает жаргонным словом *marsoûin*. Любопытна его этимология этого жаргонного слова. На старо-нормандском языке *marsvîn* значит “дельфин” (от *мар* — море и *свин* — свинья), затем оно трансформировалось в *megeſwine* (дельфин) в английском языке, поскольку покорившие Англию нормандцы говорили на англо-норманнском языке. Изначально на арго так называли любого солдата французской колониальной пехоты, потом морских пехотинцев...

своей последней книге «Les Dictateurs» на три четверти состоящей из работы литературных негров⁶², самый знающий Германию сотрудник «Аксьон Франсез» покрыл свое имя подобными фразочками: «Гитлер всегда говорит о евреях с глубокой ненавистью и полным отсутствием критического духа... автор «Майн Кампф», говоря о развитии «еврейской нации» во всем мире настолько груб, что возникает вопрос, не для толпы ли созданы эти образы, для войск и штурмовиков мифы, создающие энергии гораздо больше, чем искренние рассуждения». Пережёвывание ссор с призраками Габриэля Моно⁶³, споры вокруг текстов Поздней империи о романизме или германизме галлов, обличительные речи о германском чревоугодии, заботливо собранные в «Словаре идей» Морраса, действительно пахли старой гримеркой. Ассимиляция немца евреем была слишком *фантастической фантазией*. В предисловии к своей «Вечной Германии», где он только что воспроизвел большую пачку этих документов, Моррас, не колеблясь, привел нам в качестве знака тевтонской свирепости новые процессы стерилизации и пригрозил нам постоянной кастрацией, если немцы одержат над нами верх.

Внешняя политика строилась на этих пыльных толкованиях и такой грубой наивности не больше, чем на настроениях гетто и обидах лож. Военный баланс изменился; с того дня, как вермахт проник в Рейнскую область, мы тем более могли объявить себя пацифистами, что анархия продолжала расти в нашей стране.

Ни дня после окончания войны⁶⁴ здесь не проводилась французская политика, кроме политики Демократического Интернационала и Англии. Разве национализм не состоял прежде всего в том, чтобы освобо-

⁶² Я создал там Советы и Португалию, Бразильяк, я думаю, Италию и Испанию — прим. *Pèbete*. Jacques Bainville, 1879-1936, журналист, историк.

⁶³ Gabriel Monod, 1844-1912, историк, масон, был женат на Ольге Герцен, дочери революционера Герцена.

⁶⁴ Первая Мировая.

диться от такой скандальной и губительной опеки? Мы больше не могли ничего сделать против Германии без ненавистного соучастия. Разве мы не имели права предложить хотя бы попробовать что-то новое? Разве обоснованное соглашение между действительно свободной Францией и национал-социалистической Германией не стало для нас единственно логичным и благоприятным исходом, той системой, при которой интересы отечества были бы наилучшим образом обеспечены?

Мы иногда перечитываем, чтобы подивиться, чудесный отчет *Candide* из Венеции, где г-н Жан Файард с высоты своей надменной проницательности изобразил фюрера в куртке, со шляпой на животе, как скромного клерка, выпрашивающего место перед превосходными и снисходительными итальянцами. Неужели нельзя было к ним присоединиться? Сегодня благодаря мудрой заботе наших религиозников итальянцы и немцы ехали вместе, и маленький человечек в шляпе железной рукой держал поводья упряжки.

Может быть, по Платону, Аристотелю и Отцам Церкви, Германия не достойна командовать порядком в Европе. Но в непосредственном будущем, что для нас имело гораздо большее значение, мы должны были признать, что без Гитлера и штурмовых отрядов, с миллионами коммунистов, кишачими в Рейхе, с Леоном Блюмом и Торезом дома, с марксистской республикой в Испании, Моррас давно бы потерял вкус к греческому языку, а в отеле "Action Francaise" на улице дю Боккадор расположился бы торжествующий Народный комиссариат.

<.....>

Так как дружба, случайность, близость и ненависть наших противников сформировали нас, команда "Je Suis Partout" потратила массу таланта, ума и мужества, которая, особенно с 1936 по 1938 год, спасет честь французской прессы в адские годы нового предвоенного периода, прессы, охваченной всеми призраками лжи, клеветы, глупости и страха. Но с течением вре-

мени мы все больше ощущали огромную несоразмерность нашего внутреннего смятения и наших средств. Единственные разумные цели, которые могла, по нашему мнению, ставить перед собой французская политика, — особенно если помечтать, — требовали полного свержения режима. К чему служил наш убогий еженедельник для такой цели, еженедельник, не имевший средств даже на скромную рассылку?

Мы начали читать несколько лекций четверем или пяти людям, лекции больше походили на разглагольствования, где наша молодость, наш энтузиазм, наша энергия пользовались наибольшим успехом. У меня было очень сильное желание научиться говорить. Но сразу пришло разочарование. Я со скукой смотрел на эту аудиторию, состоящую всегда из одних и тех же «националистов», добрых и безмятежных буржуа, дам в приличных шляпках с улицы Бак, слегка затянутых барышень, влюбленных в литературу и мечтающих о блестящей переписке с писателями, двух джентльменов с улицы Соссэ⁶⁵, которые обнадежили бы начальство⁶⁶, никогда ни одного настоящего противника, которого нужно поколебать, так мало даже неопитов, и так много черепов, черепов... вечные “колена” лысых голов правых, прославленных и почтенных стад рогоносцев из “Patrie Française”⁶⁷, министерства экономики, из Chambre bleu⁶⁸. Когда речь не шла об элитных бойцах, чья деятельность состояла в том, чтобы пунктуально и деликатно возиться с полусотней подобных церемоний, раскрученных за парижский сезон, эти смелые люди приходили, чтобы отождествить нас с нашей прозой, судить о нашей сексуальной привлекательности или поболтать про выбор наших галстуков. Неко-

⁶⁵ Saussaies, где располагалось МВД.

⁶⁶ Речь о стукачах-provokatorax из полиции.

⁶⁷ Правая организация, вышла из Лиги французской родины (Ligue de la patrie française), основана в декабре 1898 года, объединяла противников Дрейфуса.

⁶⁸ Парламентское большинство, “Национальный блок”, образован 16 ноября 1919 года.

торые, как правило довольно рафинированные, должны быть, искали среди нас похлебку из нескольких грубых слов. Как и в случае с шансонье, к которым они, без сомнения, приравняли нас, их радость была полна, а наш триумф обеспечен, когда мы оказали им честь, немного покричав на них.

Достаточно было бы утащить с собой куда-нибудь четыре-пять десятков студентов, мальчишек, чтобы сказать себе, что наше время и наш дух были потрачены не зря. Но когда нам удалось зажечь нашу аудиторию и намочить рубахи потом, когда мы достаточно оскорбили нескольких министров, все, что оставалось, это оправиться от этих подвигов и вытекающей из них жажды, поздравляя друг друга за столом на пьедестале в виде стола в “Lipp”⁶⁹ или “Deux-Magots”⁷⁰.

В какой бы степени мы не пробуждали энтузиазм, у нас не было ни знамени, которое мы могли бы развернуть, чтобы завербовать наших верующих, ни лозунга, ни малейшего жеста, чтобы повелевать им. Мы исполнили номер, пустой фашизм, ничего в руках, ничего в карманах⁷¹.

Вряд ли это была наша вина. Мы сделали все что могли. Мы стоили лучшего. Но сами наши качества были из тех, которые в условиях страны гарантировали нам безвестность. Нашего безоговорочного антисемитизма было бы достаточно, чтобы поставить на нас печать неприкасаемых, тот знак, который евреи теперь вернули тем, кто не заключил пакт, и от которого отворачивались оскорбленные добрые христиане⁷².

⁶⁹ Пивная на бульваре Saint-Germain в 6 округе Парижа, каждый год вручает литературную премию Cazes.

⁷⁰ Литературное кафе в том же 6-м округе, место сбора артистов, интеллектуалов.

⁷¹ То есть не предложили программу действий.

⁷² Рёбате пишет не про “звезду Давида”, а про особый знак в виде круга из цветов радуги, которым отмечали в Средние века евреев, здесь он хочет сказать, что правые в Третьей Республике гонимы, как евреи в Средневековье.

За двадцать месяцев существования Народного фронта на политические средства правых было потрачено достаточно миллионов для финансирования нескольких революций. Но эта находка рассыпалась сначала на неразборчивые тряпки, маленькие группы заговорщиков-сомнамбул. Пристрастия весомых персонажей⁷³ переходили без колебаний к фонарщикам, шутникам, шантажистам, трепетным трусам, моллюскам умеренности, необходимым различиям, нюансам, зияющим в теплой грязи их счастливой посредственности, и прежде всего к бесчисленной армии революции туфель и жопы Жозефа Прюдона, поднятой полковником Казимиром, графом де ла Рок⁷⁴.

И все же мы серьезно ошиблись. Мы не шли до конца. В том месте, где мы были, и куда дальше пойдут дела, мы бы ничего не потеряли, откровенно разбив окна. Мы бы уже выглядели невероятными авантюристами. Но самая серьезная и, безусловно, далеко идущая часть нашей программы не покидала узкий близкий круг. Что касается франко-германской проблемы, мы публично сохраняли смущенную осмотрительность. Гаксотт однажды, задолго до того как этот вопрос стал злободневным, предположил в статье, что Германии вполне можно дать полную свободу действий на Востоке, что секрет мира, несомненно, находится там. Это оставило не больше следов, чем парадокс дилетанта, и сам Гаксотт, может быть, не придавал этому большого значения. Однако от такого предположения до отмены союзов был только один шаг. Разве не присоединились бы к нам на этой, наконец, твердой и вполне реальной почве, очень неожиданные товарищи? Не было ли это одной из тех бурных новинок, без которых нет революции?

⁷³ Намек на Морраса.

⁷⁴ Снова издевка над полковником де ла Рок, чья воинственность ограничивалась риторикой. Прюдом — персонаж Бальзака, конформист, обыватель, ничтожество.

Кто сможет сказать, что это всего лишь пустая гипотеза, раз мы не пробовали? Мы держали в руках эту динамитную шашку, способную пробить такую огромную брешь. Но мы не осмелились зажечь ее, опасаясь, что все рухнет. «Аксьон Франсез» с первого дня своего основания квалифицирует как измену любую попытку связаться с Германией другими средствами, кроме пушек. Она уже упрекала нас в приватном общении — переданном одним из своих перебежчиков, о котором я говорил выше, нашим другом Клодом Жанте⁷⁵, лучшим всех среди французских журналистов осведомленным о национал-социализме, позволившем невероятную дерзость писать о Гитлере как о политике довольно выдающегося звания, довольно значительного, чтобы изучить его действия, как человека, даже представителя белой расы... Почти все мы вышли из «Аксьон Франсез», мы были слишком плохо подготовлены, чтобы противостоять чудовищной массе, удесятерившейся со времен гитлеризма: предрасудки, бессмыслица, грубые ошибки, невежество, навивная или слишком хорошо рассчитанная ненависть, которые мешали по эту сторону Рейна построить мосты из Франции в Германию. Хотя Моррас часто приводил нас в замешательство, его авторитет всегда успокаивал нас. У нас не хватило наглости совместно и публично пойти против его катехизиса.

Таким образом, мы остались в роли страстных трибунов, но съезжились до нашей профессии прозаика. Мы проделали работу достаточно энергично и проникательно, чтобы впоследствии получить право громко говорить. Но мы оставили её на ближайшее будущее, ничего не останавливая и даже не обсуждая. Это было мало для того, кто видел надежду на полномасштаб-

⁷⁵ Claude Jeantet, 1902-1982, правый журналист, ездил на Восточный фронт, где сфотографировался с Бразильяком и Дорио. По утверждению адвоката Бразильяка, из-за этого фото де Голль не помиловал его подзащитного, приняв его за Дорио, надевшего форму СС, Жанте судили с Рёбате и Кусто-старшим и приговорили к смерти, потом помиловали.

ную борьбу. Мы думали, более или менее открыто, что у нас еще много времени впереди. Демократия приучила нас к своей тяжелой и бесконечной карусели. Возможно, мы были хорошо демократизированы вопреки себе.

Мы с довольно живой досадой наблюдали, как ускользает⁷⁶ министерство Блюма в тот момент, когда страна, наконец, почувствовала, что это нелепое бедствие нужно предотвратить во что бы то ни стало. Режим, у которого никогда не было недостатка в чутье и мастерстве для таких вещей, все же сумел отсрочить решающее событие. Изнурительные качели! Было ли сказано, что мы должны были потратить все это время на фальшивые сражения, которые через тридцать лет станут такими же неясными, как министерские падения при Садик-Карно?⁷⁷ Прикрытие Блюма было необходимо, чтобы Шотам⁷⁸ казался менее запятнанным и роковым в глазах нескольких неизлечимых простаков. После восьми месяцев грязной болтовни Блюм снова появился, через три дня после того как Гитлер совершил аншлюс. Это граничило с провокацией. Заметно набирал силу антисемитизм. Слишком поздно. Мы очень хорошо знали, что ложи⁷⁹ скоро переломят ситуацию. На этот раз Шотама было уже недостаточно. Нам вернули раскаявшегося Даладье, возвещенного громким звуком якобинских труб, приветствуемого орфеонами буржуазии, окончательно успокоившейся насчет судьбы своих титулов и своих золотых слитков, уже сожалевшей о взносах в казну правых.

⁷⁶ От отставки.

⁷⁷ Marie François Sadi Carnot, 1837-1894, политик и президент Франции с 3 декабря 1887 до смерти.

⁷⁸ Camille Chautemps, 1885-1963, политик, много раз президент совета министров.

⁷⁹ Масонские, масонство традиционно играет важную роль в политическом устройстве Франции XVIII века.

Мы знали эту песенку. Мы не собирались позволять себе отвлекаться от работы. В “Je Suis Partout” мы почти не практиковали разделение труда. В основном составе каждый мог бы сделать всю газету самостоятельно, от колонки редакции до кинематографической хроники. Но я более конкретно приписал себе рубрику анти-иудаизма⁸⁰. Таким образом, я написал и сочинил в начале весны 1938 года специальный номер о мировом еврействе, в очень умеренном тоне. Я считал мелких профессионалов антисемитизма скорее довольно вредными, невежественными и шумными, выкрикивающими монотонные оскорбления или обнаруживающими еврейскую кровь у короля Англии. Меня очень мало заботили подлинность или ложность Сионских протоколов. Было более чем достаточно придерживаться фактов и неопровержимых писаний, чтобы дать указание суду над евреями. Под их диктовку пресса двух миров оплакивала их несчастья. Я удовлетворялся составлением другого баланса, баланса совершенных ими мошенничества, коррупции, саботажа, разрушений, убийств. На самом деле мой номер оказался окружен абсолютной тишиной, которая доказывала тогда, что мы нацелились правильно, что евреи не осмелились вступить в сокрушительный спор. Без какой-либо рекламы, без единого отклика наших добрых национальных коллег, если не считать «Action Française», этот номер продавался очень хорошо.

Я был в ярости, что мы не могли из-за отсутствия одного-двух чеков, которые так легко выписывались в столь многих слабоумных правых предприятиях, напечатать номер о евреях миллионным тиражом. Как беспомощны мы были перед грозными средствами, позволяющими евреям похоронить в гробницах молчания и скрыть правду своей истории от целых народов!

Благодаря моему дорогому и старому другу Рене Гонтье⁸¹, который готовил богатую и привлекательную

⁸⁰ Позже это стоило Рёбате смертного приговора.

⁸¹ René Gontier, 1899-1966, адвокат, антисемит.

книгу на эту тему⁸², обещающую, конечно, безжалостный бойкот, я честно познакомился с расизмом согласно Гюнтеру и Розенбергу. Я легко отделил избыток научных доказательств и систематическую жесткость весьма естественной защиты белой крови. В остальном расология предложила весьма правдоподобную классификацию людей по зоологическим видам. Как и во всех науках, необходимо было сохранить проверяемые наблюдения и отказаться от сомнительных построений.

Добрые языки заговорили о нашем тайном гитлеризме, что между нами стало превосходным поводом для розыгрышей. Вагнерианец, ницшеанец, антисемит, антиклерикал, знающий национал-социалистический фольклор наизусть, я, естественно, был назначен играть роль элиты S.A. в нашей банде. Я оправдал себя с Horst Wessel Lied и звонким «Heil». А если серьезно, я все еще собирал чемоданы для поездки в Рейх... Я уехал жить на несколько дней в Кельн и Мюнхен. Я осмелился сказать, что в течение недели карнавала в Мюнхене мне было очень весело, что я, по-баварски, естественно, много пил и ел, и что там дышалось атмосферой большой ярмарки в солидной и уравновешенной тишине, а не в страдании и заговоре, зародившихся в рабстве...

⁸² Книга называлась “К французскому расизму” и вышла в издательстве «Denoel», интересно, что Гонтье не испытывает никаких враждебных чувств к арабам, в частности, он пишет, что, несмотря на то, что “наши подданные из колоний приедут во Францию. Мы увидим французов как белую нацию, но нацию метисажа. Заместит ли черный поэт Расина или Мольера, а желтый философ — Декарта?.. Если Франция не установит расистский режим, ей не жить”, французы все же... “уладят дело с арабами и берберами. Они настоящие белые, и никакой угрозы Франции не несут. Это азиаты и негры представляют для нас риск”.

Марио Харн
13:23⁸³

I

— Что это с тобой, Питер? — спросила Мэри, озабоченно помешивая в сковородке скрэмбл.

Он ответил, что ничего, абсолютно ничего с ним не случилось, и не соврал. Для него это было обычное утро, которое пахнет сливочным маслом, кофе и отзывается хрустом утренней газеты в руках. Питер бегом пробежал по колонкам, пропуская абзац за абзацем, ведь его интерес к новостям вне семьи и работы давно иссяк. А детей у него и Мэри, кстати, не было.

В буре от накипи турке медленно крутился его кофе, который он пил почти каждый день (за исключением командировок и отпусков) вот уже 40 лет. Мэри или как он её иногда называл “простушка-Мэри” хлопотала вокруг него, как заботливая кошка или скорее курица, пока он дочитывал некролог на последней странице газеты. И поправлял очки, вечно спадавшие на край носа.

Потом он начал собираться. Долго примерял галстуки, которые подошли бы к его элегантному чёрному костюму. И остановился на синем. Он показался ему привлекательным.

Уже у порога Мэри, прикоснувшись своими чуть усаатыми губами к морщинистой щеке мужа, спросила:

— Ничего не забыл, дорогой?

— Нет, ничего не забыл, дорогая.

⁸³ Итало-британский писатель Марио Харн (1932-1989). Перевод Алексея Климова.

Они ещё раз поцеловались, и он уехал, почувствовав что-то странное. То ли он и вправду что-то забыл, то ли дождь будет завтра утром. Со своим чувством Питер так и не определился, а через несколько улиц оно напрочь выветрилось.

II

Он подкурил жандарму, стоявшему у входа в тюрьму, и прошёл внутрь. Поздоровался со всеми, кого встретил, и прошёл в раздевалку. Снял там пальто и закрыл шкафчик.

Зашёл в комнату, где установил недавно новенькую висельницу, осмотрел её, ещё раз прикинул в голове длину каната и подёргал петлю.

Он сел на стул сзади висельницы и смотрел на неё, словно это разрушенный Колосс, от которого ровным счётом ничего не осталось, и перевёл взгляд на дверь. Ведь в комнате, у которой нет окон, только и остаётся, что смотреть на дверь, не так ли?

Она отворилась, и вошёл комиссар. Комиссар поздравил его с выходом на пенсию и нескромно поинтересовался, был ли Питер на футбольном матче в прошлое воскресенье. Он сказал, что да, и ещё минут 10 врал добродушному комиссару, какой был счёт, думая про себя, что филигранно обманывает его. Но комиссар лишь учтиво кивал.

Минут через 20 привели заключенного. У него, как и у всех смертников до этого, были завязаны глаза. Он уже поговорил со священником, так что Питер, комиссар, медик, пришедший за пять минут до заключенного, и два охранника методично выполняли то, что привыкли, и не разговаривали друг с другом.

Когда Питер надел на шею заключенного петлю, а комиссар считал по часам минуты, смертник заговорил:

— Подскажите, который сейчас час?

Питер оглядел всех присутствующих и затянул петлю потуже.

— Понимаете, господин палач, я сидел в камере смертников целый месяц. В ней не было окон, и я...

Он на секунду сорвался на жалобный вопль, остановился, но через мгновение продолжил:

— Я видел каракули других смертников на стенах, только когда на секунду открывалось окошко для еды. Один день — одна буква. Я успел прочитать несколько фраз, но от страха забыл их...

— Я советую вам замолчать и направить свои молитвы к Господу. — Невозмутимо прервал его Питер, осторожно поглядывая на присутствующих.

— Нет! Ну скажите же, который сейчас час! Я хочу знать хотя бы, во сколько меня казнят, это ведь мое последнее желание перед смертью, вы же можете его исполнить? Который сейчас час?

Питер нехотя перевел взгляд на свою левую руку — но на запястье не было его любимых рабочих часов. На мгновение в его голове промелькнула какая-то мысль, но он не успел её поймать. Питер поднял глаза на комиссара — тот махнул рукой.

Охранники вынимали тело заключенного из петли, а Питер смотрел на них, ровным счётом ни о чем не думая и ничего не решая.

— А какое всё-таки время смерти, док? — неожиданно для себя самого спросил Питер.

— 13:23

И Питер подумал, что никогда не видел такого ужасного времени для смерти. Труп привезут в морг, и он, скорее всего, ещё несколько дней проваляется без дела.

III

Питер пообедал в полупустой тюремной столовой; в раздевалке ждали все его знакомые — они поздравили его с выходом на пенсию, хоть каждый по отдельности уже и так это сделал. И подарили ему часы. С красивой, заказной гравировкой: “Лучшему палачу Англии из рода лучших палачей Англии”. Он слегка улыбнулся,

поблагодарил, и вся толпа плавно двинула в паб, чтобы отпраздновать отставку Питера. Конечно, без него самого.

Дома его встретила хлопотная, юркая Мэри, такая, какой она была все 50 лет, что он знал её.

Питер отказался от ужина, сославшись на плотный обед, и поднялся наверх, в спальню. Снял с руки подаренные часы и положил их рядом со своими любимыми. Теми, которые он забыл. А ведь такое с ним никогда ещё не случалось.

Он лег в кровать и, закрыв глаза, прислушивался к беготне Мэри. Когда Питер засыпал, то фантазировал, какой теперь будет его жизнь; жизнь маленького, ничего ни делающего пенсионера.

Проваливаясь в сон, он видел отдельные кадры этой прекрасной и свободной жизни: Мэри на кухне, газета, возня с машиной, стрижка газона...

Но ничего ему так и не приснилось, кроме простой и одинаковой для всех темноты.

Уилки Коллинз
СПАСИТЕ МЕНЯ ОТ МОИХ ДРУЗЕЙ⁸⁴

Пару дней назад, гуляя по западной части Лондона, я наткнулся на попрошайку практически вымершего вида. Несколькоими годами ранее я замечал на этом самом месте красноречивого нищего, стоявшего посреди дороги. Он обращался к людям по обеим сторонам от себя с искусно придуманной речью и появлялся часто и вовремя, словно почтальон. Правда, через какое-то время такой заметный человек, чуть ли не Цицерон современного мира, практически перестал появляться там. Скорее всего, со временем слушатели стали глухи к убеждающей силе оратора, у которого осталось только два достоинства — моральная чистота и физическое лишение.

Именно с такими мыслями я остановился, чтобы посмотреть на жалкого попрошайку. А также, чтобы послушать речь, с которой он обращался к тем, кто жил на улице и шел по своим делам по обеим сторонам дороги. Это был высокий, крепкий, самодовольный и здоровый бродяга, его лицо можно было бы назвать красивым, если бы оно не было искажено выражением, которое Природа оставляет как клеймо, на лице любого самозванца. Что же до стиля ораторства, я не могу несправедливо обделить его, просто описав словами.

И вот, наш экземпляр начал говорить, от всего сердца обращаясь к публике:

⁸⁴ Из авторского сборника «My Miscellaneous». Перевод с английского Essential liberty.

— Добрые христиане, можете ли вы оказать мне услугу и оставить свои разнообразные дела всего на минутку, чтобы послушать терзания отца семейства, которого горе заставило выйти на улицу? Работа, честная работа — единственное, о чем я прошу, но не могу получить. «Почему?» — спрашиваю я с великим уважением, почему? Добрые христиане, мне кажется, все из-за того, что у меня нет друзей. Увы! Все так, у меня нет друзей. Моя жена и семеро детишек, должен я с прискорбием сказать вам, совсем голодны. Да, совсем голодны. Все потому что у меня нет друзей — уверяю вас, у меня есть полное право говорить, что причина в этом — у меня нет друзей. Почему я, моя жена и семеро детишек голодаем в такой процветающей стране? Почему нет моей доли замечательных вещей, нужных для жизни, на которые я смотрю голодными глазами у мясника и пекаря по обе стороны от меня? Может ли кто-нибудь мне это объяснить? Мне кажется, добрые христиане, никому такое не под силу. Должен ли я погибать в стране изобилия только из-за того, что у меня нет ни работы, ни друзей? Мне нельзя погибать в стране изобилия. Нет, я не могу погибать в стране изобилия. Будьте так любезны, потерпите мою назойливость и выслушайте мои терзания. Я отец голодающего семейства, и у меня нет друзей...

На таком аккуратном возвращении к начальной части своей речи попрошайка замолчал, собрал дежное признание толпы и прошел дальше с траурной медлительностью, чтобы рассказать вторую версию своего обращения к другой части улицы.

Смотря на этого мужчину, я незаметно для себя начал сравнивать то, как я стою на тротуаре с тем, как мой ораторствующий бедняк стоит на дороге. В некоторых важных моментах я обнаружил, к своему удивлению, что результат сравнения получается не очень-то и лестным для меня. Я мог с уверенностью сказать, не слишком перехваливая себя, что из нас двоих я честнее, также я лучше образован и несколь-

ким лучше одет. На этом мое превосходство завершалось.

Нищий был лучше меня по всем внешним и видимым признакам внутреннего покоя, которые совмещались с наружностью здорового и хорошо сложенного мужчины. На некоторое время озадачив себя попыткой разыскать причину такого завидного процветающего и счастливого вида этого бедняка (который, судя по всему, ощущал острый взгляд наблюдателя даже через притворное выражение страдания и отчаяния), я пришел к единственно возможному выводу, что секрет его личностного преимущества надо мной состоит в тех самых обстоятельствах, на которые он главным образом полагается, чтобы вызвать сочувствие щедрой публики — обстоятельство отсутствия друзей.

— Нет друзей! — повторил я про себя, когда уходил. — Как удобно устроился этот попрошайка! Вот настоящая причина, почему он выглядит лучше меня, — у него нет друзей! Но может ли такое невероятное утверждение быть правдой? На самом ли деле этот завидный мужчина может прийти домой и подготовиться к завтра без того, чтобы ему кто-нибудь помешал? Я иду домой, чтобы дописать статью, не зная, найду ли хотя быть пять свободных минут для себя — я все время работаю. Может ли он убрать деньги в стол при свете дня и не встретить никого, кто между делом сказал бы ему: «Вспомни нашу старую дружбу и одолжи мне немножко»? Меня ждут деньги в издательстве, но я не посмею прийти и забрать их, разве что только под покровом ночи. Разве этого баловня судьбы, мимо которого я только что прошел, и вправду никогда не приглашали на ужин, на который он не мог не прийти? На его пальто есть пуговица — я точно уверен, что видел ее — и ни разу за нее не хватались человеческие пальцы, пока человеческий язык надоедал ему? Он не живет во времена осмеяния у позорного столба, у него есть уши — удачливый негодник. На самом ли деле эти его органы чувств ощутили радость неописуемого благословения свободы от выслушивания «совета из луч-

ших побуждений»? Умеет ли он писать — неужели у него нет писем, на которые нужно ответить? Умеет ли он читать — неужели у него нет книги близкого друга, которую он должен прочесть, даже если ему не понравится? Не удивительно, что он выглядит так благополучно и здорово, хотя и живет в грязных трущобах, а я выгляжу раздражительно и бледно, хотя к моему дому ведет гравийная дорожка, а сам дом стоит в приятном районе. Боже мой! Как он смеет рассказывать о своих бедах, когда ему не о чем жаловаться! Неразумный сибарит! Чего ему захочется в следующий раз, хотелось бы знать?

Это все дурные сентименты. Но, вероятно, так как по веяниям современной моды принято придерживаться неизменно добродушного взгляда на общество в целом, можно простить мне мой неожиданный всплеск мизантропии, с учетом того, что речь идет о конкретном случае необычности ее выражения по отношению к социальным субъектам. Такое говорить просто ужасно, но горькая правда заключается в том, что я еще ни разу не смог оценить выгоду того, что у меня широкий круг знакомств, и еще того, что я смог бы легко обойтись без общества многих дорогих моих друзей.

Вот, например, мой Шумный Друг — превосходное существо, мы с ним близки с самого детства, и он любит меня как брата. Я всегда знаю, что именно он звонит в дверь — и это притом, что мой кабинет располагается на последнем этаже дома. Я слышу его, когда он оказывается в проходе, как только открывается дверь — он человек очень радушный. И, как у всех радужных людей, у него очень громкий голос. Тогда я велю слуге передать, что я занят, а это значит просто-напросто, что я усердно работаю.

— Старина! — доносится до меня приветливый раскатистый бас моего Шумного Друга. — Как всегда, пишет что-то, — да, Сьюзен? Благослови тебя Господь! Он меня знает — знает, что я не стану его отрывать. Он наверху ведь? Я знаю, куда идти. На минутку, Сьюзен, я только на минутку.

Голос затихает, и тяжелой поступью (все шумные люди носят сапоги с толстыми подошвами) друг поднимается по лестнице, шагая через ступеньку.

Дверь моего кабинета распахивается, словно ее вышибли тараном (шумные люди всегда заходят без стука), и внутрь влетает, как бешеный бык, мой друг.

— Ха-ха-ха! Я тебя поймал, — говорит приятель детства. — Не останавливайся из-за меня, старина. Я не собираюсь отвлекать тебя от работы (Господи, сколько писанины!) — слушай, ты в порядке, а? Это все, что я хотел узнать. Ей-богу, очень приятно видеть, как ты сидишь здесь и управляешь умонастроениями народа! Нет! Я не буду садиться, я не задержусь ни на минуту. Рад был повидаться с тобой, дружище, бывай.

В этот момент его приветливый голос снова прокатился по кабинету, гость по-братски сжал мою руку, и сжимал ее до тех пор, пока мои пальцы не разболелись так, что я уже не мог держать ручку. И он так сильно сбил меня с мыслей, что весь оставшийся день я не мог развить ни одной идеи из всех, что приходили мне в голову. И все же (как он и обещал), он пробыл в комнате не больше минуты, хотя вполне мог бы остановиться на несколько часов: результат был бы тот же самый, ведь нанести мне еще больше вреда он попросту не мог. Могу ли я обойтись без него? Да, это правда, что он знает меня с той поры, когда я носил короткие штанишки, и что он любит меня как брата. Тем не менее, я мог бы обойтись — да, я определенно мог бы обойтись без моего Шумного Друга.

Пойдем дальше: есть у меня Друг-Семьянин, который предпочитает приходить ко мне под конец дня, когда я выполнил все свои дневные дела и наслаждаюсь одиночеством: сложно передать словами, насколько ценны для меня эти полчаса, что я провожу у огня, чтобы восстановить силы. Итак, есть у меня Друг-Семьянин, который приходит ко мне в это время и у которого нет других тем для разговора, кроме болезней его жены и детей. Что бы я ни делал, чтобы сменить тему, я никак не могу выбраться из этого семейного

изолятора. Если я начинаю говорить о погоде, это выливается в мучительные рассказы моего друга о том, как погода влияет на здоровье миссис Рикеттс или младшего Рикеттса и мисс Рикеттс. Если я начинаю говорить о политике или литературе, мой друг извиняется за то, что ничего не знает о последних событиях, которые тревожат умы министров или писателей, рассказывая мне, сколько времени забирают у него болезни его домашних. Если я пытаюсь защититься, пригласив его на вечеринку с большим количеством гостей, где разговор, несомненно, будет на общие темы, он берет с собой жену (хотя, когда я приглашал ее, он сказал мне, что она не в состоянии подняться с постели) и время от времени во всеуслышание спрашивает ее, как она себя чувствует. Этот ласковый вопрос он адресует жене через весь стол столь же непринужденно, как если бы он передавал ей солонку или бутылку. В последнее время я потерял всякую надежду защититься от него и перестал стараться. Я смирился со своей участью. Хотя у меня и нет семьи, о болезнях молодых матерей и их детей я знаю (благодаря огромному количеству сведений в этой области, которыми меня одарил мой друг) столько же, сколько настоящий доктор. Знает ли еще кто-то, кто далек от медицины, когда именно полпинты неразбавленного бренди можно влить в горло нежной и чувствительной женщине, не произведя на нее ни малейшего иного эффекта, кроме оздоровительного? А я знаю, когда это можно сделать — когда это нужно сделать — когда, даю вам самое честное слово, применение алкоголя в больших количествах может спасти одну драгоценную жизнь — именно так, и, возможно, даже две! Допускаю, что эти знания могут оказаться полезным дополнением к той информации, которой я уже владею. Возможно, мне придется то, что я знаю, да еще по столь неординарной теме. Быть может, это так — но, мои добрые читатели, не менее верно и то, что я мог бы прекрасно обойтись без моего Друга-Семьянина.

Друзья-из-Деревни — я не должен забывать о них, и более всего заслуживает внимания леди Джинкинсон, которая в некоторой степени является собирательным образом всех моих знакомых из деревни.

Леди Джинкинсон — вдова отважного офицера. Она живет в прекрасном местечке за городом. У нее есть сыновья — чудесные ребята, и дочери — очаровательные девушки. У нее развит литературный вкус, как и у ее очаровательных дочерей (ее чудесные ребята этим не отличаются). Она считает, что проявить немного внимания к литератору — весьма подходящее для незаурядных личностей занятие, и она достаточно любезна, чтобы пригласить меня погостить в ее загородном доме, где для меня будет отведена отдельная комната и где я смогу писать свои «прекрасные вещи» в полной тишине, вдали от лондонской суеты и шума, которые мешают работе. Я отправляюсь в ее загородный дом, все, над чем я работаю — у меня в портфеле, и работа эта должна быть завершена к определенному времени. Для меня приготовлена очаровательная маленькая комната, двери которой ведут в спальню, а из окон видна прекрасная садовая терраса и величественные деревья в парке. Утром я спускаюсь к завтраку, а после второй чашки чая встаю из-за стола, чтобы вернуться в рабочий кабинет. Тут же вся семья хором начинает протестовать. О, конечно, я ведь не собираюсь начинать писать в первый же день. Посмотреть на солнце, послушать пение птиц, почувствовать свежий воздух. После лондонского смога совершенно необходимо выехать на прогулку — съездить в Шокли Боттом, пообедать на природе (это ведь так приятно!) и поехать обратно к Гримшоу Фолли (там такой чудесный вид с вершины!), а по дороге домой заглянуть в аббатство, где стоит тот чудесный старый дом — там любезному сквайру прочли вслух мою последнюю книгу (только подумайте об этом! это последнее, чего я мог ожидать!) — а читали ее дорогие Эмили и Матильда, обе до смерти хотят со мной познакомиться. Одержимый (типографским) дьяволом, я с трудом побеждаю

огромный соблазн предаться безделью и решительным усилием совершаю побег.

— Обед в половине первого, — говорит леди Джинкинсон, когда я удаляюсь.

— Молитесь, не ждите меня, — отвечаю я.

— Обед в половине первого, — вновь говорит леди Джинкинсон, как будто думает, что я ее не услышал.

— И сигары курят в бильярдной, — добавляет один из чудесных ребят.

— И в оранжерее, — продолжает одна из очаровательных девушек, — где от вашего ужасного курения есть хоть какая-то польза.

Я отчаянно закрываю дверь. Последнее, что я слышу — это слова леди Джинкинсон:

— Обед в половине первого.

Я иду в свой рабочий кабинет, и вот что там можно найти:

— Инкрустированный стол из редких пород дерева, который был бы безнадежно испорчен всего одним чернильным пятном. Серебряная чернильница огромного размера, вмещающая примерно наперсток чернил. Ручки из гусиных перьев в ароматизированной коробке из папье-маше. Блокнот для промокашек с подкладкой из малинового полинялого шелка, заполненный лиловой и розовой бумагой для заметок с серебряной печатью герба Джинкинсонов в верхней части каждого листа. Нож для бумаги из черепахового панциря, пресс-папье в виде Колизея с редкой мозаикой, светло-зеленая лампадка в подсвечнике из черного дерева, воск в ароматизированной коробке, спички в ароматизированной коробке, лоток для карандашей из чистого золота с бирюзовым орнаментом по всей поверхности. В общем, около двухсот фунтов стерлингов ценного имущества, как рабочие материалы для моих писательских упражнений.

Я осторожно убираю все переносимые предметы с инкрустированного стола, оглядываюсь по сторонам в поисках самой никчемной вещи, какую только могу найти, чтобы накрыть ею на случай чернильных

Дайте-ка подумать: где я был, когда начал играть «Трубадур»? Очевидно, на следующем отрывке, поскольку предложение осталось незаконченным.

«Чем дальше мы углубляемся в эту интересную тему, тем больше света...» Что я хотел сказать о свете, когда начался «Трубадур»? Было ли это «лется на нас»? Нет, ничего такого банального. У меня, конечно, была заготовлена полнокровная метафора и прекрасное завершение предложения. «Чем больше света» — сияет? мерцает? вспыхивает? озаряет? разливается? струится? загорается? О Боже! Какое же следующее драгоценное слово было у меня в голове, когда «Трубадур» завладел моим бедным безумным мозгом? Бесполезно искать его. Вычеркиваем «тем больше света» и пробуем что-нибудь другое.

«Чем дальше мы углубляемся в эту интересную тему, тем больше мы находим рассыпанных перед нами жемчужин истины, которые так редко обнаруживают-ся сейчас». «Вы так редко заезжаете к нам теперь».

Помилуйте, о чем это я? Заканчиваю свою неудачную фразу, механически записывая несколько вежливых слов, произнесенных мелодичным голосом одной из очаровательных девушек на садовой террасе под моим окном. Что же я слышу в мужском голосе?

— Сожалею, что так долго отсутствовал, попечение о школах и бедняках отнимает все мое время... — о, молодой посетитель из духовенства, узнаю его по манере говорить. Все молодые священники говорят одинаково — кто их этому учит, интересно знать? Позвольте мне выглянуть из окна.

Я оказался прав. Это молодой священник — безусый, с апостольскими длинными волосами, болезненной улыбкой, в длинном фраке, с муслиновым платком на шее и в черном жилете, не позволяющем увидеть нечестивое белье. Очаровательная девушка почтительно пожирает его глазами. Собираются ли они вести свою утреннюю беседу под моим окном? Очевидно, да. Это приятно. Каждое слово их незначительной, беглой, непрерывной, сентиментальной болтовни доносится до

моей комнаты. Если я попрошу их убраться куда-то, где я их не услышу, то поведу себя грубо. Если я подойду к окну и кашлем объявлю о своем присутствии, заставляю смутиться очаровательную девушку. Ничего не поделаешь, остается только снова отложить ручку и ждать. Это перемена к худшему, вне сомнения.

«Трубадур» был приятен для слуха, но мнения неподобного джентльмена о восхитительных цветах на террасе, о последнем томике современной поэзии, который он взял у очаровательной девушки, о достоинствах церковной системы в Средние века и о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в начальной школе, слушать достаточно утомительно. И это дом, в который я вошел, ожидая роскоши рабочей тишины! А внизу лестницы сидит леди Джинкинсон, твердо уверенная, что она предоставила мне такую возможность проявить свое писательское дарование, какой я не имел никогда в жизни! Ну что ж, терпение, терпение.

Полчаса, три четверти часа. Я слышу, как он уходит? Да, наконец-то. Снова перо, снова бумага. На чем я остановился?

«Чем дальше мы углубляемся в этот интересный предмет, тем больше мы находим рассыпанных перед нами жемчужин истины, которые...»

Что я хотел сказать о жемчужинах истины, когда молодой священник и очаровательная девушка начали свою сентиментальную беседу на террасе? Идея ушла, полностью ушла. Вычеркиваем жемчужины истины и попробуем другой путь.

«Чем дальше мы углубляемся в эту интересную тему, тем больше раскрываются ее широкие возможности...»

Стук в дверь.

— Да, прошу Вас.

— Ее светлость просила передать, сэр, что обед готов.

— Очень хорошо.

«Чем дальше мы углубляемся в этот интересный предмет, тем яснее раскрываются его огромные возможности. Разум, в действительности, вряд ли можно назвать компетентным...»

Стук в дверь.

— Слушаю.

— Ее светлость желает, чтобы я напомнил вам, сэр, что обед готов.

— Умоляю, упросите леди Джинкинсон не ждать меня.

«Разум, в действительности, вряд ли можно назвать компетентно обозревающим большие объемы наблюдений...»

Стук в дверь.

— Да.

— Прошу прощения, сэр, но ее светлость просила передать, что только что принесли омлет по-монашески, и она очень хочет, чтобы вы его попробовали. И она боится, что он остынет, если вы не будете так добры немедленно спуститься вниз.

— Скажи, я приду прямо сейчас.

«Разум, в действительности, вряд ли можно назвать компетентно обозревающим большие объемы наблюдений, которые...» которые?.. которые?.. Опять сбился! А чего еще стоило ожидать? Хорошие же шансы против обеда имеет литература в этом доме!

Я спускаюсь в обеденный зал, и мне вежливо говорят, что я выгляжу так, будто только что проделал замечательную работу.

— Осмелюсь предположить, что вы уже несколько месяцев не писали в такой совершенной тишине, как сейчас? — спрашивает леди Джинкинсон, помогая мне с омлетом по-монашески.

Я начинаю с этого лакомства, но вспомнить, где я закончил — слишком трудная задача для моей памяти. Все кормят меня, думая, что я устал от писательства. Все замечательные парни будут пить со мной вино, «чтобы я снова двинулся вперед». Никто не верит моему печальному утверждению, что я ничего не сделал,

которое они приписывают чрезмерной скромности. Когда мы встаем из-за стола (процесс, честно говоря, который выполняется с чрезвычайным трудом), мне говорят, что карета будет готова через час. Леди Джинкинсон и слышать не желает ни о каких возражениях.

— Нет, нет! — говорит она. — Я пригласила вас сюда не для того, чтобы вы переутомлялись. Я не могу этого допустить.

Я возвращаюсь в свою комнату с уже необычно тесным жилетом и легкими симптомами сильного удара хереса в голову. При таких обстоятельствах о немедленном возвращении к работе не следует и думать. Возвращение в постель — безусловно, наиболее мудрый поступок. Я ложусь, чтобы привести в порядок свои мысли. Покончив с обустройством, я уступаю природе и иду спать.

Когда я просыпаюсь, моя голова снова ясна. Теперь я вижу свой путь к концу этой части о «больших объемах наблюдений» и направляюсь к своему столу в приподнятом настроении. Как только я сажусь, раздастся еще один стук в дверь. Карета готова. Карета! Я совсем забыл об этом. Однако пути к спасению нет. Время должно уступить мне, когда я дома, и я должен уступить времени, когда я у леди Джинкинсон. Мои бумаги быстро перемешиваются в моем чемодане, и я снова присоединяюсь к гостеприимной компании ввиду.

— У Вас появились новые блестящие идеи? — вопросительно восклицают дамы, когда я занимаю свое место в экипаже.

— Ни малейшего их следа, — отвечаю я.

Леди Джинкинсон укоризненно трясет передо мной своим зонтиком.

— Мой дорогой друг, вы всегда были до нелепости скромны, когда говорили о себе. И, знаете, я думаю, это вам идет.

Мы возвращаемся как раз вовремя, чтобы переодеться к ужину. После ужина светский вечер и еще

один «Трубадур». Затем сигары с замечательными парнями в бильярдной. Я оглядываю свою работу за день со спокойным отчаянием, когда, наконец, ложусь спать. Работа моя составляет четыре с половиной предложения, а каждая строка совершенно бесполезна в литературной компоновке.

На следующее утро я встаю раньше остальных членов семьи, оставляю на столе записку с извинениями и сажусь на ранний поезд в Лондон. Это очень неблагодарное поведение по отношению к людям, которые относились ко мне с чрезвычайной добротой. Но здесь, опять же, я должен признать суровую правду. Требования моего дела к жизни непреложны, и, к сожалению, они обязывают меня абсолютно отказаться от посещения леди Джинкинсон.

Я уже довольно долго исповедовался в своих членовеконенавистнических чувствах. Но я рассказал лишь малую часть из списка моих дорогих друзей, без которых я мог бы обойтись. Не говоря уже о Другезанимающем-деньги (очевидная неприятность), есть у меня Самодовольный друг, который не может говорить ни о чем, кроме себя и своих успехах в жизни. Есть Невнимательный друг, который постоянно задает мне неуместные вопросы и у которого нет сил слушать мои ответы. Есть Случайный друг, которого я всегда встречаю, когда выхожу из дома. Есть Гостеприимный друг, который постоянно говорит мне, что ему так хочется пригласить меня на ужин, и который никогда по-настоящему не приглашает меня ни под каким предлогом. Все эти мои близкие соратники — люди с принципиально безупречными характерами и четко определенным положением в мире. И все же моя натура устроена так неудачно, что я не преувеличиваю, когда говорю, что мог бы прекрасно обойтись без каждого из них.

Чтобы продвинуться немного дальше, теперь, когда я начал освобождать свой разум...

Двойной стук в дверь с улицы внезапно останавливает мою ручку. Я не жалуюсь, потому что, к моему

собственному изумлению, я заполнял эти страницы смыслом в течение последних трех часов после обеда в своей гостиной, без перерыва. Хорошо знакомый голос в коридоре ударяет меня по уху, спрашивая обо мне по очень конкретному делу и прося слугу записать имя.

У моей двери появляется слуга, и я решаю отправить эти листы в типографию, какими бы незаконченными они ни были. Нет необходимости, Сьюзен, говорить его имя: я узнал этот голос. Это мой друг, которому совсем не нравится состояние моего здоровья. Я знаю заранее, что он приходит с адресом нового врача или рецептом нового лекарства, и он будет оставаться часами, убеждая меня, что я в плохом состоянии. От него никуда не деться, как я знаю по опыту. Ну, что ж, я сделал свое признание и успокоил свой разум. Пусть мой друг, которому не нравится состояние моего здоровья, пока закончит список дорогих друзей, без которых я мог бы обойтись. Впусти его, Сьюзен,пусти его.

п я т н а

Степан Бирюков
ШТЫКИ И БАШНИ

162













ш к о л а т р у п о в

Александра Герцена
**ВАЛЕРИЯ НОВОДВОРСКАЯ:
ГРОВОВЩИК
СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА**

Мы будем бороться за Россию и вместо России.
Если понадобится, против неё. Но оставаясь с ней.

Валерия Новодворская

168

Девять лет назад Россия обеднела свободой, умом и честью, потеряв свою благороднейшую дочь. 12 июля 2014 года перестало биться самое свободолюбивое и самоотверженное сердце России. Валерия Ильинична была (перефразируя Маркса) сердцем бессердечной страны и совестью бессовестного народа. Главным её качеством было поразительно чуткое сострадание к каждому «по ком звонит колокол», впервые задетое в ней делом Синявского и Даниэля, ставшим для неё тем же, чем стала казнь Пестеля и его товарищей для Герцена, — «разбудившая ребяческий сон его души» (с) Былое и думы.

Это шутовское судилище над писателями сделало Новодворскую гробовщиком советского тоталитаризма и первой зарницей его гибели. В серое брежневское безвременье юная Валерия поклялась застать на своём веку агонию коммунистической диктатуры. Не Горбачёв и не Яковлев, а именно Новодворская, закалённая годами тюремного заключения и карательной психи-

атрии, стала повитухой перестроечных вольностей и дала отрезвляющую оплеуху советскому человеку, который в ответ лишь возроптал и потребовал вернуться в тёплое рабское стойло. Благодаря усилиям Новодворской (несмотря на двадцать лет чекистского реваншизма) нынешний деспот всё ещё не может, — выражаясь словами Блока, — «простереть совиные крылья» и спокойно усесться на своём дрянном троне лжи и произвола. Именно Новодворская вспахала и взлелеяла те скудные стебельки гражданских свобод, которые гэбэшный Нерон доселе не в силах выкорчевать.

Русские люди, знающие цену своей свободе, кем эта цена была принесена в жертву кремлёвскому Сатурну и кому за эту жертву следует отдать дань уважения, всегда будут помнить, что живут они на инерции чужого подвига. А подвиг Новодворской состоял в том же, в чём подвиги Радищева, Чаадаева, Герцена, Огарёва, Белинского и каждого, кто оспаривал у государства монополию на патриотизм в те глухие годы, когда тирания возжаждала отождествиться с Родиной.

Когда Россия воспрянет ото сна, имя Новодворской напишут на обломках самовластья наряду с именами Софьи де Боде, Захарченко-Шульц, Марии Бочкарёвой, наряду с убитыми в Москве безусыми юнкерами, воспетыми Вертинским. Напишут, что свобода ей была дороже сытости, честь — дороже безопасности, достоинство — дороже жизни.

Валерия Ильинична восхищалась храбростью генерала Корнилова, сожалела о судьбе ошельмованного Власова, ценила интеллектуальное наследие Солженицына и черпала вдохновение из поэзии Некрасова:

«Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;

Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;

Он чужд сомнения в себе —
Сей пытки творческого духа;

Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.

Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят...

(мхатовская пауза)

...Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Её страстей и заблуждений.

170

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья, —

И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.

Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя»

— *Николай Некрасов, 1852.*

extremum

Вадим Климов ИДИОТИЗМ И ИЗОЛЯЦИЯ⁸⁵

Идиотизм

У меня было достаточное количество друзей с Украины, но я останавлиюсь на двоих, с которыми наиболее близко сошелся. Первой была приятельница, покинувшая с маленькой дочкой родину и долго жившая на Кипре в совсем другой культурной среде.

С дочкой приятельница разговаривала по-английски. Однажды я поинтересовался, владеет ли девочка русским. Оказалось, что она понимает этот язык, но не говорит на нем. И вообще приятельница не собирается возвращаться в места, где ей или ее дочери понадобится русский язык.

Однако через пару лет она не только приехала в Москву с лекциями (одну из которых прочитала вместе со мной), но и устроилась на работу в Тюменский государственный университет. Подписала контракт на несколько лет. По всей видимости, моментально забыв о своем отторжении русского языка и вообще Русского мира.

Вторым был старейший автор «Опустошителя», публикующийся в журнале с первого номера. В 2014-м, будучи московским нацболом, он поддержал Майдан, рафинированно отделяя так называемый Евро-

⁸⁵ Текст лекции, прочитанной в московском магазине «Листва» на презентации книги «Украинский дневник. Война с западной гегемонией. Год первый» (07.07.2023).

майdan, начальную стадию протеста, от настоящего Майдана, революционную и завершающую стадию.

К тому моменту приятель был изъят из всех российских политических структур, включая Другую Россию Эдуарда Лимонова, считал, что в России зачищено все политическое пространство, а на Украине, напротив, революция, свобода и творчество масс. Но парадоксальным образом приятель оставался в Москве, хотя был родом из Одессы, в которую навещался несколько раз в год, пока это было возможно.

Симптоматично, что оба приятеля, киевлянка и одессит, русские, по крайней мере, с русскими фамилиями, вполне здраво рассуждающие. Но стоило коснуться Украины, как они превратились в зомби, талдычащих какую-то неповоротливую ахинею и совершенно глухих к любым аргументам.

У Ларса фон Триера есть великолепный фильм «Идиоты» (*Idioterne*, 1998), повествующий о датской коммуне, члены которой пытаются высвободить своего внутреннего идиота. Это их протест против мещанского окружения, своих филистерских семей и вполне успешных, хоть и абсолютно бессмысленных, офисных работ. Но в еще большей степени это акт волевого раскрепощения в навязанном цивилизационном контексте.

Когда я натываюсь на людей вроде двух описанных приятелей, то вспоминаю эту концепцию. Алогичность и грубое расхождение декларируемых взглядов с действиями немедленно оживляет в памяти фильм Триера. С моего берега, то есть из Русского мира, их поведение воспринимается как идиотическое.

Но еще более интересным и необычным является перенос концепции «Идиотов» на государства. Оказывается, не только индивид может нуждаться в высвобождении внутреннего идиота, но и целая страна. Волевым усилием, направляемым собственным истеблишментом.

Правда, в отличие от триеровского эксперимента, участники которого действовали самостоятельно и

добровольно, Украина находится под внешним управлением. Причем, как оказалось, достаточно руководить политической элитой, и преобразование населения произойдет само собой.

Конструкт внутреннего идиота — чисто нигилистический. Это в первую очередь сопротивление мелкобуржуазной культуре с условностями и ограничениями среднего класса. Рождение этого феномена в зажиточной и скучной Дании вполне объяснимо. А вот рождение страны-идиота Украины уже не столь очевидно.

Украина, вероятно, единственная страна в мире, в которой резкое обрушение экономики и уровня жизни, уполовинивание население, огромные военные потери сопровождаются истеричной поддержкой власти. Животная русофобия, охватившая население, призывы уничтожить все русское, от людей до культуры, перевесили любые невзгоды. Более того, активная ненависть к России, выражающаяся в конкретных действиях, никак не связывается с умерщвлением Украины.

Это поразительный и в некотором роде воодушевляющий эксперимент над несколькими десятками миллионов человек, слипшихся в экстазе отрицания. «Украина — не Россия»!.. Настаивая на этой апофатической дефиниции, украинские националисты готовы принять всю актуальную западную повестку от края до края.

Их страна демонстрирует фантастическую пластичность. С ЛГБТ, сотней гендеров, переменой пола, самыми разными сексуальными перверсиями, эвтанизией, легализацией наркотиков и проституции и прочими суицидальными причудами золотого миллиарда. Только бы выйти из Русского мира, а по возможности уничтожить его.

Это уже не безобидный бытовой идиотизм коммуны из фильма Ларса фон Триера, но его агрессивная версия. Причем находящаяся в полной уверенности в том, что его, этот агрессивный идиотизм, поддерживает весь мир, суженный до протектората англосаксов.

Изоляция

Золотой миллиард под руководством англосаксов требует всеми силами изолировать Россию, как агрессора против маленького безобидного суверенного государства, находящегося по соседству. И действительно, словно лемминги в известном мифе, доминионы США пытаются изолировать Россию беспрецедентным набором санкций, фактически разрушая самих себя.

Сама Украина лишилась половины населения: миллионы 10 оказалось в России и немного меньше в Европе. Тем не менее именно Украину следует считать изолированной, так как, несмотря на усилия ее говорящих голов, военный конфликт не переносится на другие страны, он заперт на территории только этой страны.

Очень странная изоляция, при которой в зону конфликта поставляются военные и вооружение, иностранные бюрократы и международные организации свободно посещают подконтрольные Киеву города, встречаются с местным руководством, но, собственно, боевые действия ограничены периметром Украины.

Страну-идиот можно сравнить с человеком, проглатывающим одну отраву за другой, но их действие отложено на неопределенный срок. Человек продолжает вести привычный образ жизни: ходит на работу, встречается с друзьями, отдыхает и развлекается, но рано или поздно проглоченный яд, который он продолжает регулярно закидывать в себя, все же сработает и умертвит своего носителя.

На Украине еще осталась пара десятков миллионов жителей, требующих не прекращения войны, а расширения уже имеющихся кладбищ и открытия новых. Некросюрреализм, охвативший целую страну. Интерпретировать ход мыслей наших соседей уже не представляется возможным. Однако они полностью укладываются в формулу: *«Идиота легко обмануть, и трудно управлять и его вообще невозможно понять»*.

Украина не только заперла на своей территории военный конфликт, в который вовлечено несколько десятков стран, вдобавок она изолировала себя от здравого смысла. Представить, чтобы кто-то добровольно сдал свои города под обкатку иностранного вооружения, требовал больше кладбищ для своих солдат и не понимал, что разозлило русских после призывов «Режь русню», довольно сложно.

Но все-таки можно. И Украина тому наглядное подтверждение.

Помимо этой вдвойне изолированной Украины существует еще и изоляция второго порядка. Это некий дубль Украины, обитающий на той же территории, в тех же политических реалиях, но оставшийся невосприимчивым к русофобской повестке.

На эту незараженную часть населения, не сумевшую покинуть оккупированную агрессивным идиотизмом территорию, вероятно, стоит рассчитывать после успешного окончания СВО. Численность этого дубля неизвестна, можно только надеяться, что таких людей еще достаточно, чтобы переломить ситуацию.

Подобное расслоение коллективного сознания напоминает шизофрению, только не в рамках одной личности, а в рамках целой страны. Это одно из достижений демократии в современной редакции: распад нации, отчаянная конкуренция, обвинения в любых проступках и преступлениях и, в конечном счете, внешнее управление под флагом западной гегемонии и прав человека.

Украина войдет в учебники, как пример филигранной сдачи суверенитета и превращения в страну-идиот. Ювелирная хирургическая операция по перемыванию нескольких десятков миллионов человек в бессмысленных зомби, добровольно бредущих на убой.

Эпатаж

Есть такой тип доморощенных artists, занимающихся эпатажным искусством, которых приводит в недоумение любая реакция, кроме одобрения. Они ждут, что все будут восхищаться их смелостью и остроумием. Подобные персонажи, по всей видимости, не догадываются, что смелость и остроумие как раз таки и заключаются в риске столкновения с остракизмом.

На Украине мы наблюдаем именно такой тип artists, которые занимаются здесь не искусством, а политикой. Они тридцать лет натравливали свое население на Россию, с 2014 года перейдя к навязчивой милитаристской пропаганде. От игривого призыва «Кто не скачет, тот москаль» к открытой агрессии «Режь русню».

Все это время политики-artists в стране-идиоте считали, что достаточно заключить договор и необязательно его выполнять, можно призывать к войне, а потом удивляться, что эта война началась, можно приходить к власти с одной программой, а реализовывать ее противоположность. Возможно вообще все.

Но самое любопытное в этом агрессивном идиотизме то, что население Украины давно свыклось с подобной вседозволенностью и принимает ее как должное. Выкрикивая «Слава Украине!» в перерывах между похоронами и мобилизацией.

Ален де Бенуа
ЕВРОПА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ⁸⁶

Сегодня Европа является первым торговым и вторым экономическим могуществом в мире. Один только европейский союз производит четверть мирового внутреннего валового продукта (ВВП). Его финансовый резерв в долларовом измерении уже тоже на втором месте. Опирающийся на 372 миллиона своих граждан, ЕС после своего расширения в центр и на восток станет также и первым в западном мире сообществом по демографическим показателям. Его образовательная система и уровень населения способствуют созданию научной элиты во всех областях фундаментального знания. Его археологическое, историческое, литературное, музыкальное, технологическое и научное наследие — одно из самых богатых на планете. Идеи и представления Европы как «матери философии» составляют непрерывную трехтысячелетнюю интеллектуальную традицию.

Хорошо видно: сегодня в руках Европы есть все необходимые козыри для того, чтобы свергнуть американскую гегемонию и без колебаний стать главной мировой силой. Но она не хочет — все еще не хочет — взять на себя связанную с этим историческую ответственность. Предоставляет свои богатства на хищное разграбление многонациональным фирмам и финансовым рынкам. Позволяет своей элите уезжать в Соединенные Штаты, которые без ее мозговой подпитки остались бы в области научного и технологического

⁸⁶ Глава из книги Алена де Бенуа «Против либерализма. К четвертой политической теории» (Амфора, 2009). Перевод с французского Владимира Карпца.

творчества среднего уровня державой. Отдает функции обороны управляемому из Вашингтона Альянсу, полностью подчинив свою находящуюся в зачаточном состоянии дипломатию диктату страны, недавно без колебаний бомбившую один из ее народов. Размывает — уже на протяжении нескольких поколений — свою многовековую идентичность и разрушает свою цивилизацию, оставляя место для общества потребления и общества спектакля. Вдруг наконец начинает робко строить континентальное федеративное государство — через Европейский союз, решительно утверждаемый вначале как его цоколь, — но очень скоро под давлением «общественного мнения» подчиняется парламенту, состоящему из призрачных политиков и всесильных технократов.

Нынешнее положение в Европе нельзя оценить вне более широкого контекста находящегося в становлении после падения Берлинской стены нового мирового порядка. Эпоха Государств-наций, рожденная в 1648 году Вестфальским договором, длилась 150 лет; эпоха Венского конгресса — 100 лет, ялтинских соглашений — чуть более 40 лет. Эти все более быстрые изменения были вехами становления того, что Карл Шмитт называл «Номосом Земли», то есть некоего глобального предания, через которое мир приходит к равновесию. Первый Номос Земли определяли более или менее самодостаточные цивилизации древности и Средних веков: именно в его рамках Европа познала самые первые усилия к объединению — через римскую империю, папство и римско-германскую империю. Второй Номос — «разделительный»: в условиях ренессанса европейские нации, вначале противопоставленные друг другу в религиозных войнах, начали соревнование за колонизацию мира и господство в Европе; эта эпоха завершилась великой гражданской войной в 1914–1945 гг. Третий Номос складывался вокруг двухполярного порядка Восток—Запад, идеологического противостояния между либерализмом и коммунизмом, геополитического противостояния Суши (европейского

континентального могущества) и Моря (могущества морского, американского).

После падения Берлинской стены мы вошли в четвертый Номос Земли. Он обозначен переделом мира на большие цивилизационные пространства, потенциально содержащие в себе также и большие пространства политические. Но такая многополярность мира пока еще только виртуальна. Ибо гегемония в шести основных областях могущества — технологической, экономической, финансовой, военной, медийной и культурной — принадлежит только одной цивилизации — Соединенным Штатам Америки. И цель у американцев тоже только одна — затормозить, насколько это возможно, трансформацию западного *универсума* в планетарный *плюриверсум*. Вопреки всем видимостям, их главный противник — не Китай и не мусульманский мир, но Европа: если она, утверждая свой суверенитет, освободится от их опеки, Соединенные Штаты потеряют свой почти исключительный контроль над миром и окажутся обязанными соотносить себя с нововозникающими могуществами. Сама не зная этого, Европа держит в своих руках судьбы мира.

Однако в новый Номос Земли также входит и глобализация — этот термин появился несколько лет назад при описании возникшего на наших глазах феномена: детерриториализации большинства современных проблем и тенденции объединения Земли. Этот феномен не является простой идеей, носителями которой являются та или иная политическая группа или отдельная идеология. Это реальность, объективно объединяющая большинство современных тенденций. Широта явления дает возможность предвидеть так же и его будущее. Иными словами, глобализация отныне образует весь формат современной истории. Вот почему объявлять себя «противником глобализации» сегодня бессмысленно. Однако вполне возможно глобализацию «выиграть» — самостоятельно дать определение ее смыслам, а затем определить ее формы и содержание — уже действием. Основными для наступ-

ления глобализации являются два фактора. С одной стороны — позволивший опутать информационной сетью всю поверхность Земли взлет электроники и информационных технологий. С другой стороны — обрушение советской системы, которая после Второй мировой войны создавала своего рода противовес распространению американской мощи. Конечно, это не означает, что надо сожалеть об исчезновении коммунизма. В политике зло нередко проистекает из блага (и наоборот). Это то, что Макс Вебер называл парадоксом последствий.

С наступлением глобализации объединение Земли происходит не «абы как». Оно происходит главным образом в форме *рынка*, то есть подчиняясь логике торговли и поиска прибыли. Пришествие всемирного рынка сопровождается изменением менталитета. Усвоение рыночной модели устанавливает, как в мышлении, так и в поведении, примат чисто рыночных ценностей. Большинство областей, еще недавно не вполне подпадавших под логику капитала (искусство, культура, спорт, образование и т. д.), сегодня интегрированы в нее полностью. Отныне доминирующая антропологическая модель — утилитаризм: человек определяется как индивидуум, сущностно озабоченный производством и (особенно) потреблением, в качестве экономического аспекта постоянно ищущий максимизации своего интереса. Происходит переход от общества, *в котором есть рынок*, к обществу *рынка как такового*. Но развитие рыночного обмена не приводит к исчезновению отчуждения и вражды: ведь единственное, что принимается в расчет, это платежеспособность.

Глобализацию осуществили не левые «космополиты», но правые либералы. И это вполне соответствует вековой капиталистической тенденции: по определению, у рынка нет границ, кроме него самого. Констатация того, что капитализм оказался более эффективным в реализации «интернационального идеала», более не кажется парадоксальной. Исторически «космополи-

тизм» всегда символизировал «левую» идеологию, но сегодня только некоторые ее звенья, активно принявшие глобализацию, соответствуют этому положению. Тот, кто критикует глобализацию, ничего не говоря о логике капитала, лучше бы этого не делал.

Каковы последствия глобализации? Наиболее очевидным является расширение и конкретизация того, что я бы назвал «идеологией Одного и того же» (*l'idéologie du Même*): планетарная однородность, униформизация поведения, исчезновение различий в образе жизни, обобщенная, одинаковая для всех модель «развития» и т. д. Гомогенизация, в итоге которой все люди от одного края Земли до другого все более и более потребляют одинаковые продукты, все более и более посещают одинаковые зрелища, все более и более живут в домах, построенных по одной и той же модели, и т. д., поддерживается неявной пропагандой, дискредитирующей любую альтернативную модель. Общая идея всего этого, беспрерывно оттачиваемая как политиками, так и массмедиа, состоит в том, что мы живем не в лучшем из возможных миров, но в мире, который, хотя и несовершенен, все же предпочтительнее остальных. А параллельно повсюду устанавливаются процедуры контроля, которые, распространяемые по всей мировой шкале, уже видятся предвестиями своего рода «планетарного Паноптикума» — общества тотального контроля. Такая гомогенизация, распространяющая на весь мир одну частную экономическую и технологическую модель — западную, — отныне предстает как безысходная «участь» всех культур. Так глобализация в значительной мере смешивается с вестернизацией, главным двигателем которой на нынешний момент является американская мощь.

В то же время надо обратить внимание на *диалектический* характер глобализации. Именно диалектика указывает на ее главное противоречие. По мере того, как глобализация не без оснований представляется во всем мире односторонним навязыванием западного образа жизни, она повсюду вызывает

сильное «идентитарное» сопротивление. Чем более глобализация актуализирует унификацию, тем более она потенциализирует фрагментацию; чем более актуализирует глобальное, тем более потенциализирует локальное. Можно было бы, поняв это, порадоваться. Тем не менее, если глобализация одним движением разгружает и оживляет идентичности, то вот эти новые, «оживленные» уже со всем не те, что были прежде. Уничтожаются идентичности органические, равновесные, а восстанавливаются их подобию, причем в чисто реактивной, конвульсивной форме. Это феномен, который Бенджамин Барбер обозначил формулой: «Джихад против Мак-Мира» (Djihad vs. McWorld).

Впрочем, глобализация вообще «отменяет» время и пространство. Время — потому что благодаря информационным технологиям и технологиям связи мгновенного действия всё вновь распространяется и возвращается во «время зеро»: одни и те же события (например, атака на Соединенные Штаты 11 сентября или финал Кубка мира по футболу) были видны и «пережиты» по всей планете в один и тот же момент; финансовые потоки мгновенно передаются с одного конца Земли на другой. И так во всем. Что же до отмены пространства, то обратимся к простому факту: границы более ничего не сдерживают, и ни одна территория уже никоим образом не имеет своего самостоятельного центра.

В эпоху холодной войны существовала граница между миром коммунизма и тем, что дерзко называли «свободным миром». Сегодня этой границы нет. Информация, программы, финансовые потоки, товары, сами люди свободно циркулируют из страны в страну или одновременно распределяются по всем странам. В каждой отдельной стране различие между внутренним и внешним более ни с чем не соотносится. Еще недавно, например, полиция занималась наведением внутреннего порядка, а армия — обороной от внешнего вмешательства. Сегодня же полицию все чаще используют в военных целях, в то время как армия за-

нимается «международными полицейскими операциями». В связи с появлением глобального неотерроризма всё это выглядит особенно откровенно: в Соединенных Штатах у ФБР и ЦРУ теперь один и тот же противник. (Перефразируя только что цитированную формулу, можно сказать, что речь идет уже не о «Джихаде против Мак-Мира», но о «Джихаде внутри Мак-Мира».) Таким образом, глобализация означает появление *мира без внешнего мира*. Это мир, над которым более нет ничего, глобальное предприятие, по самой природе своей ничем не ограниченное.

Наступление глобализации в равной степени означает конец эпохи модерна (*modernité*). Падение Берлинской стены стало вехой не только конца послевоенной эпохи или даже XX века. Оно стало вхождением в *постмодерн* (*post modernité*).

В мире постмодерна все политические формы, унаследованные от модерна, выходят из употребления. Политическая жизнь более не сводится к конкуренции партий. «Ленинская» модель, в соответствии с которой партии приходят к власти, чтобы осуществить свою программу, сильно устарела, ибо пределы маневра правительств с каждым днем все более сужаются. Государства-нации одновременно теряют централизацию и легитимацию. Централизацию — поскольку они уже слишком велики для того, чтобы удовлетворять ежедневные нужды людей, но в то же время слишком малы, чтобы противостоять планетарному развертыванию противоречий и зависимостей. Легитимацию — поскольку институциональные горнила интеграции, на которые они прежде опирались (школа, армия, профсоюзы, партии и т. д.), одно за другим переживают кризис и более не являются *производителями социального*. Социальные связи устанавливаются вне действия административных властей и видимых учреждений. Глобализация «развела» знак и значимое, и это привело к общей десимволизации политической жизни. Кризис представительных институтов, уклонение от голосования на выбо-

рах, расцвет популизма и новых социальных движений — вот еще только некоторые характерные симптомы такой эволюции.

Мы присутствуем при одновременной смене Государств-наций сообществами и континентами, массовых организаций — сетевыми, модели «взрыв/революция» — моделью «развал/рассеяние», территориальной логики — транснациональной, индивидуализма одиночек — интерсубъективизмом групп.

Глобализованный мир — прежде всего мир сетевой. Сети объединяют индивидов по их интересам, не принимая в расчет их территориальное нахождение. Главная характерная черта сетей, отличающая их от других организаций, — отсутствие центра и периферии: каждая сетевая точка — одновременно и центральная, и периферическая. Сегодня сетей очень много, и они разные: промышленные и финансовые, информационные, криминальные, террористические и т. д. Способ их функционирования — децентрализация. Крупные многонациональные фирмы, промышленные общества, наркокартели, неотеррористические группы и мафии действуют совершенно одинаково: они выбирают благоприятную для своей деятельности среду и туда, где найдут для себя наилучшие условия, направляют усилия.

Логика описания мира сетей — *вирусная*. Уже много сказано о парадигматизме вирусной модели. Неслучайно широко распространяющиеся сегодня инфекционные болезни (СПИД, коровье бешенство и т. д.) — вирусные. Они распространяются в точности таким же образом, как и вирусы компьютерные, — с одного края планеты до другого. Но вирус и сам есть результат существования сети.

Все это дает нам возможность понять, почему тщетно искать «дирижера» глобализации. В той степени, в какой сущностно есть мультипликация сетей, глобализация не имеет ни оперативного центра, ни ставки главного командования. Американское могущество, образующее сегодня основной вектор могуще-

ства мирового, само по себе тоже подчинено. Как в финансовой, так и в технической плоскости глобализация функционирует по своей собственной логике: по модели горизонтальной, а не вертикальной, «кибернетической», а не дальнего управления. Глобализация развивается из самой себя.

* * *

Следует сделать еще два важных замечания. Первое: всемирный характер глобализации, безусловно составляющий ее силу, есть некоторым образом и ее слабость. В глобализированном мире всё получает мгновенный отзыв во всем. Ничто не удержит распространение шоковых волн, например, от великих финансовых кризисов, которые, вспыхивая на одном конце планеты, вызывают мгновенный резонанс по всему миру. Второе замечание касается распространения сетей. Будучи одной из самых характерных черт глобализации, они оказываются также и одним из способов борьбы с ней или, по крайней мере, смягчения ее последствий. Сети суть оружие: они позволяют диссидентам и повстанцам перегруппироваться в пространстве с одного конца земного шара на другой и координировать свои действия.

Те же самые эволюционные процессы полностью переходят на местный уровень. Абсолютно тщетно для глобального могущества противостоять другому глобальному могуществу. Стратегия же прорыва, напротив, состоит в том, чтобы противопоставить местное глобальному, самое малое — самому великому. В эпоху постмодерна (*postmodernité*) все соотношения сил изменили свою природу. Еще 50 лет назад целью всякого могущества было обеспечить себя достаточно мощными — по возможности наиболее мощными — средствами для противостояния могуществу противоположному («равновесие страха» времен холодной войны). Сегодня конфликты более всего характерны асимметрией наличных сил, что мы уже могли нагляд-

но видеть в событиях 11 сентября. В эпоху постмодерна фронтальная битва с глобализацией ничего не дает. Гораздо более важно создавать организованные на основе общих целей и ценностей автономные сообщества на местах. Упадок Государств-наций освобождает «низовые» энергии. Он облегчает возможность местного действия одновременно с открытием нового политического и социального измерения. Применение ко всем его уровням принципа субсидиарности, заключающегося в неперенесении на более высокие уровни того, что может быть в соответствии с конкретной компетенцией решено на более низких, окажется одним из лучших способов исправления нынешнего содержания глобализации.

Второе замечание выводит нас на уровень континентальный. Я только что сказал, что Государства-нации оказываются все более бессильными перед лицом современных проблем, поскольку они теперь уже слишком велики для преодоления повседневных трудностей и в то же время слишком малы, чтобы в одиночку контролировать ситуации глобального масштаба (мировое разворачивание экономических и финансовых могуществ, спутниковое распространение информационных программ, планетарную коммерциализацию новых технологий, управление решением экологических проблем, международные сообщения и т. д.). Это указывает на необходимость реорганизации народов и наций на шкале цивилизаций и континентов. На самом деле только исходя из такой шкалы можно ожидать появления возможностей контроля, безусловно утраченных изолированными государствами. И именно отсюда проистекает необходимость строительства европейского «блока».

* * *

Недомолвки, наличие которых можно сегодня констатировать в отношении к проблемам Европы, подпитываются безусловными пороками в самом евро-

пейском строительстве. Невозможно с этой точки зрения не удивиться односторонности прогресса европейского союза в экономической и финансовой областях практически без какого-либо продвижения в военной, политической и социальной областях. Европа не имеет и достойной ее имени исполнительной власти. Она приняла на себя обязательства по созданию права сообществ (*droit communautaire*), но оказалась неспособной эти обязательства исполнить. Идея субсидарности заблокирована бюрократией, мнящей себя всемогущей. Не имея постоянно действующей инстанции, порывающей с непрозрачным методом межправительственных совещаний, Европа рождает в этой области только туман. Более не понимая хитросплетений ее властных инстанций, обеспокоенные «утратой суверенитета» своих стран, что не находит компенсации в суверенитете всеевропейском, поставленные в своей повседневной жизни перед угрозой двойного дефицита — демократии и социальной справедливости — при постоянном ощущении того, что Европа ныне во власти банкиров Франкфурта, технократов Брюсселя и судей Гааги, большинство ее граждан начинают воспринимать европейское сотрудничество скорее как проблему, чем как решение.

На самом деле приблизиться к пониманию сегодняшней европейской конструкции можно, только если легитимировать ее в терминах *output* («выхода»), то есть эффективности результатов исключительно в регулирующих рамках рыночной интеграции. Отсюда получается, что динамика интеграции направлена исключительно на социально не урегулированный транснациональный рынок, ценность которого сводится к финансовой стабильности и конкурентоспособности предприятий. На самом же деле необходима легитимация в терминах *input* («входа»), то есть европейской конструкции, имеющей целью возможность всем ее составным частям свободно, так, как они это могут, разрешать касающиеся их проблемы, принимая на себя все вытекающие из такой свободы последствия.

«Европа государств», «Европа отечеств», «Европа наций» — формулы, удобные для маскировки фундаментального отрицания Европы как таковой, — не позволяют достичь этой цели. То же самое относится и к формуле «европейской нации», переносимой на сверхнациональный уровень все изыяны унитарной логики якобинского Государстванации, равно как и к «федерализму сверху», часто оказывающемуся всего лишь алиби регионализма. Только «федерализм снизу», скажем так, федерализм интегральный и социальный, основанный на строгом соблюдении принципа субсидиарности, может, дав ход европейскому строительству на уровне местных и региональных сообществ, позволить преодолеть застой и всеобщее уравнивание.

Необходимо отказаться от этатистской и абсолютистской оптики, очень долго мешавшей видеть демократию иначе, чем в рамках Государства-нации, ибо это последнее так или иначе несет униформизацию, утраты в области субстационарных связей между членами различных сообществ, подавление укорененности его составных частей, концентрацию сил в руках «нового класса» управленцев и технократов. Как уже замечал Николай Бердяев, государство имеет смысл, только если оно создает условия для осуществления воли к совместной жизни, для участия в публичной деятельности всех членов политического организма, самого по себе являющегося «гарантом порядка самоуправления». Это означает, что малые государства Европы должны организоваться в федерации, а крупные — федерализироваться внутри своих границ. Речь идет о нахождении подавленных веками якобинства опосредующих инстанций и о восстановлении местной жизни на основе общих ценностей, поставленных сегодня под угрозу анонимной рациональностью, давлением рынка и глобализации.

В заключение скажу, что речь идет об усилиях встать лицом к иной глобализации. Не глобализации, ориентированной на однородность, на равномерное

распространение ценностей рынка, не глобализации, освящающей планетарную победу Формы — Капитала, но глобализацию, основанную на поддержке многообразия (так, чтобы оставить нашим потомкам не менее наполненный различиями мир, чем унаследованный нами), на создании больших, со своими центрами, континентальных пространств, на многополярности, местной автономии, демократии соучастия (не обязательно представительной) и принципе субсидиарности.

Михель Гофман
РАВЕНСТВО ИЛИ СТАНДАРТИЗАЦИЯ

В традиционном аристократическом обществе Европы, неравенство распространялось по всему полю человеческих отношений, от иерархии классов до иерархии личностей — кто-то ярок, кто-то бесцветен, одни умны, другие глупы, одни красивы, другие уродливы.

Американская демократия заменила иерархию личностей иерархией достижений в экономике, где личные качества не играют никакой роли. Важно не то, что красив или уродлив, умен или глуп человек, его главное личное качество — способность создавать и приумножать богатство, что и сформировало в Америке культ простого человека, жизнь которого посвящена Делу.

Советская Россия в первые десятилетия также создавала культ работника — рабочий получил статус Гегемона, хозяина жизни. Индустриализация страны, рост экономики, также как и в Соединенных Штатах, потребовали нового отношения к тем, кто создает богатства трудом, и советская массовая пропаганда сделала простого человека с мозолистыми руками своим героем. Быть простым человеком, т.е. таким как все, в Соединенных Штатах, стало обязательным для всех слоев населения, от рабочих до лидеров страны.

Однако желание быть или казаться простым человеком возникало не как результат влияния политической риторики, это желание было рефлексом самосохранения в атмосфере массового общества, желание вполне искреннее, так как быть таким как все означает гарантию безопасности индивида в толпе. В то же время, в любом человеке живет чувство своей уни-

кальности, особенности, и чем более стандартизирована масса, тем острее желание выделиться из нее.

Наивысшей стандартизации, регламентации всех сторон жизни добились Соединенные Штаты, которые стали особенно наглядны во второй половине XX века, когда средний класс, вырвавшийся из бедных районов, где вся жизнь проходила на улице, на виду, где все знали всех, сумел построить себе комфортабельные ячейки на одну семью — дом в респектабельном районе, отгороженный от других забором, полная всех материальных удобств жизнь и полная анонимность.

До абсолютного минимума сужался тот круг, в котором можно было проявить себя, продемонстрировать свою особость, что вызывало естественную реакцию — привлечь к себе внимание, стать известным многим, выйти за пределы своего крохотного социального кокона.

Известность может принести успех в своем деле, но он лимитирован ближайшим окружением, да и доступен далеко не всем. Известность может принести также власть, но путь к ней усеян трупами. Успех в спорте также возможен, но он требует огромных вложений сил.

Тем не менее, выделиться из массы может каждый, если он совершил нечто экстраординарное, попасть на первые полосы газет, появиться на всех телевизионных каналах, и публика захочет узнать все детали и нюансы его жизни. Такого страстного интереса к нему, как к индивиду, он не может получить даже от самых близких людей. Но интерес этот кратковременен, исчерпывается в течение нескольких дней или недель.

Постоянен интерес лишь к тем, кто смог войти в число победителей в экономике. Однако те, кто поднялся наверх, никогда не демонстрируют свое превосходство над теми, кто остался внизу социальной пирамиды. В жизни американского общества, разделенного на победителей и побежденных, подобная демонстрация может привести к конфликту, и победители для

своего самосохранения стремятся этого конфликта избежать всеми возможными средствами.

Победители, как правило, выпускники престижных колледжей и университетов, где стоимость образования по карману лишь семьям с доходами выше среднего. Уже по праву рождения они принадлежат к элите, возвышаются над толпой. Но они не позволяют себе, как выпускники дорогих школ и колледжей Европы, говорить с культивированным акцентом и демонстрировать свою принадлежность к высшему классу.

Президент Буш, сын миллионера и политического деятеля с огромными связями в элите страны, закончивший Йельский и Гарвардский университеты, входящие в разряд элитарных Ivy League, во время своей предвыборной кампании говорил, что студентом он был более чем посредственным, что должно было означать, что будущий президент простой парень, середнячок, такой же как и все, и будет защищать интересы таких же простых людей, как и он сам.

Быть простым человеком — это гражданский долг каждого американца, который, искренне веря в полное равенство, может не принять в качестве лидера человека, ведущего себя как европейский аристократ, с его чувством собственного превосходства.

В американской политической жизни представители управляющей элиты всегда, на публике, подчеркивают, что они ничем не отличаются от простого человека с улицы.

Во время больших национальных праздников в американской армии принято, чтобы высшие офицеры участвовали в раздаче праздничного обеда солдатам. Президент Буш во время одного из своих визитов в Ирак, в дни праздника Благодарения, вместе с генералами, стоял за стойкой армейского кафетерия, участвуя в раздаче порционных блюд солдатам.

В любом общественном месте, будь-то рабочий офис, супермодный бутик, дорогой ресторан или гостиница мирового класса, никто, нигде и никогда не позволит себе пренебрежительного отношения к чело-

веку низшего социального или денежного статуса. Обслуживающий персонал, который, в других странах мира часто подвергается оскорблениям клиентов, воспринимается как равный, даже в случае присутствия тех, кто вершит судьбами нации.

«Богатые люди других культур стремятся продемонстрировать всему миру свое богатство, свою исключительность, свои привилегии, американец этого не делает почти никогда. Идея всеобщего равенства глубоко укоренена в общественном сознании. Мало кто решается на открытую демонстрацию своих привилегий, своего особого места в общественной жизни. Даже поднявшись на самый верх, американец считает себя представителем среднего класса и живет практически в тех же условиях, что и основная масса населения». (Социолог Абель)

Тем не менее, различия в статусе проявляются не в открытых формах, а в нюансах и деталях поведения, часто не прочитываемых сторонним наблюдателем. Тон голоса, кто говорит первым, кто вторым, кто говорит без ремарок со стороны слушателей, выбор слов и выражений, расположение людей в группе. Все это знаки иерархии внутри группы.

То качество, которое так характерно для России, постоянное унижение людей друг другом, во всех без исключений жизненных ситуациях, в Америке практически отсутствует. Семантика американского языка имеет чрезвычайно ограниченный лексикон оскорбительных терминов. А те, которые существуют, бледная стерильная тень того огромного набора слов, унижающих достоинство другого, который существует в русской речи, но нет ни в одном другом языке мира.

В российской жизни не существует тех законченных, отточенных временем, четких форм социального ритуала, характерных для американской жизни, нет определенной, внятной иерархии социального статуса, что приводит к неизбежному конфликту, к постоянно-му выяснению отношений. В российском диалоге бе-седа превращается в спор, цель которого не выяснение

истины, а борьба за статус внутри данной группы, каждый раз заново, в повседневном общении, политике и экономике, все построено на импровизации.

Все классы населения, от уборщиц в общественных туалетах, наводящих порядок угрозами, а в туалете уборщица — власть, до вершителей судеб страны, сознательно или бессознательно, участвуют в постоянном и неразрешимом конфликте, в борьбе за равенство, которое на деле есть борьба за общественный статус — за уважение. Поэтому недаром фраза «Ты меня уважаешь?» так часто употребляется, статус необходимо подтверждать снова и снова в каждой новой группе и в каждой новой ситуации.

На Западе и особенно в США общение построено на формальных ритуалах, позволяющих избежать или смягчить возникающие конфликты в отношениях. В процессе воспитания вырабатывается безусловный рефлекс демонстрации доброжелательности, словесные клише и трафареты, используемые в общении, блокируют саму возможность выражения негативных эмоций.

Американец в любой ситуации воспринимает других как равных — это автоматическая реакция, обусловленная общепринятым ритуалом отношений, в которых разница в социальном статусе никогда не подчеркивается.

В повседневной жизни Европы, в случайных встречах, на улице, в кафе, в любых общественных местах, где социальный статус незнакомых друг другу людей неизвестен, он может выражаться в одежде, в стиле поведения. Но в США подавляющее большинство богатых людей, поднявшихся из нижних классов, одеваются также и ведут себя так же, как основная масса, средний класс. Менеджер крупной корпорации носит те же джинсы, что и рядовой служащий, ездит на работу в недорогой машине, ест на ланч все тот же гамбургер.

Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс, выглядит и ведет себя как средний человек из толпы,

его стиль жизни, в принципе, ничем не отличается от жизни представителей среднего класса. Завтракает миллиардер Гейтс так же, как и средний американец. Апельсиновый сок, сериал с молоком, сэндвич и кофе, обедает в общем кафетерии компании. Жена Гейтса, Линда, сама отвозит детей в школу на машине «Шевроле» старой модели, и сама делает покупки в супермаркете. Личное состояние Билла Гейтса в 2007 году оценивалось в 50 миллиардов долларов. 50 миллиардов — это стоимость имущества 60 миллионов жителей США.

В кампании Гейтса, как и во всех деловых офисах, менеджер никогда не отдает приказ работнику, он использует эвфемизмы: «Не мог бы ты это сделать для меня, пожалуйста?» (Would you like do it for me, please?). Форма обращения звучит как просьба, но, по сути, это приказ, и работник, зная правила, играет свою роль равного, с обязательной, по правилам игры, искренностью. Менеджер корпорации, нанимая нового работника, никогда не подчеркивает различия в статусе, хотя его заработок на несколько порядков выше, чем у рядового работника.

Равенство в повседневных отношениях как бы делает реальное экономическое неравенство, если не невидимым, то гораздо менее заметным. И в Соединенных Штатах, где пропасть между богатством и нищетой наглядна, ритуал равенства имеет чрезвычайно важную роль в поддержании существующего порядка вещей.

«В целом, богатые американцы гораздо богаче богатых людей Европы, а ее бедняки гораздо беднее бедняков других индустриальных стран. Житель Финляндии с самым низким уровнем зарплаты, получает почти на 30% больше, нежели американец, принадлежащий к этой же категории. Житель Швеции больше на 24%». (Тимоти Смитинг, директор Люксембургского Института изучения заработной платы, подводя итог многолетнему сравнению зарплат в Европе и США)

Европа реализует идею социального равенства сверху, государство устанавливает лимиты на индивидуальное предпринимательство и распределяет привилегии более или менее равномерно, лимитируя возможности тех, кто уже обладает экономическими рычагами и, следовательно, использует их для еще более интенсивного накопления за счет основной массы населения.

В отличие от Европы, в Америке социальное расслоение формирует свободный рынок, предоставляющий все возможные привилегии тем, кто уже утвердился в борьбе за богатство. Таким образом, неравенство становится изначальным качеством экономического развития, а внешнее равенство, в повседневном общении классов, легализует его в сознании среднего человека воспринимающего мир лишь в его практических повседневных формах. Можно было бы назвать это самообманом, но это свойство национальной психологии видеть только конкретные факты и не обобщать на абстрактном уровне.

Кроме того, социальное и экономическое неравенство в американской истории почти никогда не вызывало широких массовых, политических движений, как в Европе. Европейская идея социального равенства предполагает, что богатые становятся богаче за чей-то счет, поэтому должны отдать хотя бы часть тем, у кого взяли.

Этот взгляд был связан с ограниченными ресурсами старого континента и статичностью социального процесса. Ресурсы же Нового Света были неограниченны, в азартную погоню за богатством была вовлечена большая часть населения, государство не вмешивалась в экономическую игру, что давало возможность участвовать в ней каждому. В азартной игре победитель не отнимает, он обыгрывает своих конкурентов, а победителей не судят. Проигравшие могут обвинять только себя, в глазах других они losers: не умеешь играть, не садись за карточный стол.

Классовое расслоение в постсоветской России произошло внезапно, государство раздало национальные богатства наиболее агрессивным и напористым игрокам. В США же государство было лишь одним из игроков в экономике, и те, кто вложил больше труда, те, кому больше повезло, или те, кто подходил к правилам экономической игры «творчески», получали больше. Поэтому американцы не только относились к тем, кто стал богаче других, с уважением, они ими восхищались.

Кроме того, в условиях постоянных изменений, характерных для американской экономики, богатство не является чем-то стабильным и незыблемым, бизнес — большая дорога, на которой можно потерять или приобрести, и то, что принадлежит кому-то сегодня, завтра будет принадлежать другому. Американская политическая демагогия сумела внушить массам, что в стране нет классовой борьбы, это борьба между отдельными людьми.

198

Поэтому идея экономического равенства в форме лозунга большевиков: «Грабь награбленное» (*Soak the rich*), в котором неимущие массы призывались грабить имущий класс, никогда не находило отклика среди американских низов.

Во-первых, потому, что лозунг предполагает массовую анархию, и в результате ограбленным может оказаться каждый. Во-вторых, каждый верит, что когда-нибудь и он сам сможет попасть в круг тех, кто обыграл остальных. Каждый мечтает стать победителем, и у него не поднимется рука на тех, кем он сам хочет стать. *Deal me in*, «возьмите меня в долю», эта идея ближе сердцу американца.

Протест против экономического неравенства нейтрализован верой людей в равенство возможностей в свободной экономике, хотя эта вера иррациональна, не подтверждается практикой. Равные возможности есть у 5% населения — *money makers*, обладающих 75% общенационального богатства, но для подавляющего большинства они не более чем иллюзия.

Предприниматель может одолжить миллионы у банка под будущее развитие или выпустить акции, средний работник от банка может получить заем только на покупку дома или машины. Крупные корпорации имеют возможность вкладывать в рост бизнеса огромные средства, их доходы увеличиваются пропорционально вкладам. Небольшие компании, чьи вклады в рост бизнеса ограничены, имеют, соответственно, меньше доходов.

Принцип прост: чем больше у вас есть, тем больше у вас будет. Богатство порождает богатство, бедность порождает бедность.

Резкий контраст богатства и бедности в «стране равных возможностей» возник не сразу, он увеличивался по мере экономического роста и, соответственно, концентрацией, богатств в руках корпораций, организаций, а средний работник или предприниматель не имеет никаких других возможностей, кроме возможности подчиниться силе.

Отцы-основатели американского государства понимали, что концентрация богатства в руках немногих приведет к краху демократического эксперимента, приведет к наглядному классовому неравенству, характерному для Европы. Для них было очевидно, что нищие массы не обладают ни чувством ответственности перед обществом, ни желанием создавать богатство для богачей. В первые десятилетия после Американской Революции ожесточенно дискуссировалась тема будущего экономического развития страны.

Одна точка зрения, либеральная, базировавшаяся на христианской этике, утверждала, что экономическое равенство должно регулироваться государством и религиозной моралью. Интересы общества должны доминировать над интересами бизнеса. Как гласит Библия: «Богатый никогда не войдет в рай, так же, как верблюд не пройдет через угодное ушко». Равные возможности для всех групп населения должно было обеспечить государство.

Один из отцов-основателей, Мэдисон, настаивал на том, что закон должен регулировать рост богатств, создать пределы накоплению экстремальных богатств в руках немногих, усреднить доходы — Reduce extreme wealth toward mediocrity. По его мнению, концентрация богатств у небольшой группы населения может быть создана только за счет нарушения законов юридических и моральных, и приведет, в конечном счете, к массовому бунту. Государство должно контролировать экономику.

«Сила закона должна быть использована, чтобы крайняя бедность была поднята до уровня общепринятого комфорта, а уровень общепринятого комфорта — это не только еда, одежда и кров. Это то, что оценивается обществом, как достойная, в глазах окружающих, жизнь», — писал экономист XVIII века Адам Смит.

Защитники же свободной экономики говорили, что контроль государства над экономикой приведет к ее замедлению. Индивидуальное предпринимательство без вмешательства государства, тормозящего процесс обогащения самых сильных, должно привести к определенному росту материального благополучия всех, и это значительно более важно, нежели абстрактная, в глазах подавляющего большинства, мораль христианского равенства с ее презрением к богатым и состраданием к бедным. Эта точка зрения возобладала.

Европейские комментаторы американской жизни XIX века, от Фрэнсис Тролопп до Диккенса, от Томаса Карлайля до Мэтью Арнольда, были единодушны в признании того, что Америка, действительно, сумела создать общество равных. Незнакомые с практикой экономической жизни, они считали, что равенство в США существует, так как оно зафиксировано в политических документах страны, Конституции, Билле о Правах.

Политические права есть у всех, но в экономике реальными правами обладает только экономическая элита.

Неравенство заложено в самом фундаменте экономического общества, чтобы оно было менее заметным, была создана сложная сетка умолчаний и фальсификаций, вся мощь пропаганды была направлена на поддержание мифа о всеобщем равенстве.

Джон М. Кейнс, ведущий британский экономист: *«Современная цивилизация, создав огромные материальные богатства, не привела к равенству, она лишь сформировала изоциренную культуру сокрытия неравенства, которая маскирует истинный механизм общественных отношений».*

Вадим Климов
ОТ ПЛАТОНА К ТРАНСГЕНДЕРУ

Платон

«Диалоги» Платона завораживают не только глубиной и отточенностью мысли, но и явным анахронизмом. В «Диалогах» Платон пересказывает по памяти споры своего учителя Сократа с другими философами. Сократ избегает прямых суждений, переубеждая оппонентов чередой вопросов, которые постепенно приводят тех к правильному пониманию.

Однако эпоха античных философов осталась в прошлом, сейчас подобное невозможно. Спор уже не способен породить истину, так как у современных дискуссантов нет в этом потребности. Они не должны соглашаться с оппонентом ни в чем, чтобы не угодить в его ловушку.

Возможно, устарело даже само понятие истины. Остались лишь интересы, цели, ангажированность, но никак не абстрактная универсальная истина. Дискуссионная культура настолько обнищала, что теперь мало чем отличается от бессмысленного пустословия или агрессивной ругани.

Я бы проиллюстрировал эволюцию дискуссии на примере рукопашного боя. В скандинавской традиции практиковался следующий вариант поединка. Когда двое мужчин уже не могли разрешить свои противоречия мирно, они устраивали драку. Вставали друг напротив друга и поочередно наносили по одному удару, пока один не падал на землю.

В славянской традиции это происходило немного иначе, но смысл это не меняло. Два богатыря поочередными ударами по голове, вгоняли друг друга в зем-

лю: по щиколотку, по колено, по пояс, по грудь... и так далее до полного погружения в землю.

Со временем техника поединка невероятно усложнилась. Оппоненты больше не неподвижны, они постоянно перемещаются, уворачиваются от ударов, ставят блоки, смягчают попадания.

Все это делает бой гораздо зрелищнее, хитрее и насыщеннее. Но если вспомнить, что он символизирует дискуссию, то мы поймем, что простейшее скандинавское рубилово это «Диалоги» Платона, одного из величайших и значимых философов всех времен, а впечатляющие достижения современных боксеров или бойцов смешанных единоборств — всего лишь крикливые прения сторон в духе политических телешоу.

В таких обстоятельствах не стоит рассчитывать на переубеждение оппонента. Все что вы можете сделать — только отточить его аргументацию, продемонстрировав ее слабые стороны. Поэтому работать в интеллектуальной сфере следует не с оппонентами, а со сторонниками.

В основополагающих вопросах заинтересованные стороны давно сделали свой выбор. И менять его не станут ни при каких условиях.

Трансгендер

Важнейшим этапом разрушения общества является пересмотр функционала семьи. Я никогда не являлся поклонником этого института, но все предложенные альтернативы гораздо хуже обычной семьи. Добавлю только, что не стоит, подобно консерваторам, держаться за выскальзывающие из рук реликты. Напротив, стоит попытаться использовать переходный период для ухода к совершенно иным формам.

Однако сейчас сосредоточимся на новом функционале семьи. Ее долго готовили в рамках атомизации общества, причем все шаги осуществлялись исключительно с благими намерениями. Сначала освободили женщину, оторвав ее от мужчины — основного актора

семейного бюджета. Женщина стала таким же актором дохода. Но этого показалось мало: после развода ей полагались выплаты от бывшего мужа, так называемые алименты.

Каждый шагок вроде бы обоснован заботой, но вся поступь оказывается ведущей к краху семьи. Что и случилось в виде лавинообразного роста количества разводов. Зачем семья с двумя родителями, если жена может спокойно обойтись без мужа, который дистанционно будет датировать ее и детей.

Но этого всего лишь часть пути. За эмансипацией женщины последовала эмансипация детей. Они прекрасно обходились без отцов, и так же прекрасно смогли обходиться без матерей. Венцом всеобщего освобождения стала ювенальная юстиция. Если раньше семья была единицей общества, то теперь такой единицей стал индивид. А семья — отживающий конструктор, который можно легко собрать и еще легче разобрать.

204

Под благую песню о спасении детей от неадекватных родителей семья была окончательно похоронена. Но действительно неадекватных родителей совсем немного, и их случаи полностью покрываются обычным уголовным законодательством. Однако ювенальную заботу решили надеть смиренной рубашкой на все общество.

Это примерно так же оправданно, как если бы заболевшего человека не лечили, а разбирали на фрагменты, часть из них отбраковывали, а здоровые пересаживали другим людям. Что, кстати, в итоге и произошло опять же под знаком заботы и добродетели.

От распада семьи перешли к распаду человека. Трансплантология начиналась как чудесное воскрешение из полумертвых, а закончилась самыми омерзительными проявлениями с принуждением насилием, деньгами и попкультурой.

Последний вид принуждения самый любопытный. Это и есть окончательное раскрепощение индивида (от латинского *individuum* — неделимый), который вслед

за государством, обществом и семьей превратился в конструктор, то есть дивида (делимого).

Успехи пластической хирургии направили сначала на замедление визуального старения женщин, а потом на преобразование еще юных, исправление дефектов, а то и вовсе конструирование новых образов. Но если таким образом можно сделать красивую женщину, то почему бы не взяться за мужчину. Причем из мужчины можно сделать как красивого мужчину, так и красивую женщину. Второе даже предпочтительнее.

Так мы вплотную подошли к трансгуманизму и постчеловеку, как конструкту, фикции зараженного свободой сознания. Тотальная эмансипация не сделала ничего лучше. Все это просто распалось и провалилось в небытие. Как проваливается в бездну последнее, что еще трепыхалось на ниве постмодерна — человек.

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА



Торжество изоляции и охота на ведьм 4

м и к р о

Станислав Курашев. Сто тысяч лет одиночества 7

п р о з а

Вячеслав Молчанов. Дети 10

Нелли Цымбаленко. Еще по одной 16

Алексей Николаев. Пауки 24

Андрей Ладога. Зубы технорука Дудко 35

Владимир Коваленко. Праздничная речь профессора

Эрнесто Коко в честь нового 2121 года 50

Владимир Лорченков.

Библиотечный роман [фрагмент] 68

vice versa

<i>Илья Дейкун. Ввиду равнодушия, в свете страха.</i>	
<i>Анархо-субъективистская философия войны</i>	<i>89</i>

а р х и в

<i>Дарья Дугина. Четыре логических мира</i>	<i>107</i>
---	------------

м е р т в ы й т е к с т

<i>Люсьен Рёбате. Развалины. Глава II</i>	<i>112</i>
<i>Марио Харн. 13:23</i>	<i>143</i>
<i>Уилки Коллинз. Спасите меня от моих друзей</i>	<i>147</i>

п я т н а

<i>Степан Бирюков. Штыки и башни</i>	<i>162</i>
--	------------

ш к о л а т р у п о в

<i>Александра Герцена. Валерия Новодворская:</i>	
<i>гробовщик советского тоталитаризма</i>	<i>168</i>

extremum

<i>Вадим Климов. Идиотизм и изоляция</i>	<i>172</i>
<i>Ален де Бенуа. Европа и глобализация</i>	<i>178</i>
<i>Михель Гофман. Равенство или стандартизация ..</i>	<i>191</i>
<i>Вадим Климов. От Платона к трансгендеру</i>	<i>202</i>

ИЗДАНИЯ «ОПУСТОШИТЕЛЯ» МОЖНО КУПИТЬ

в Москве:

Фаланстер Тверская, 17

Ходасевич Покровка, 6

Листва Жуковского, 4с1

Порядок слов в Иллюзионе Котельническая наб., 1/15

Книжный в Клаубе Покровский бульвар, 6/20с1

Гнозис Турчанинов переулок, 4с2

PRIMUS VERSUS Покровка, 27

Москва Тверская, 8с1

Библио-Глобус Мясницкая, 6/3с1

в Санкт-Петербурге:

Все свободны Некрасова, 23

Подписные издания Литейный, 57

Порядок слов Набережная реки Фонтанки, 15

Листва Литейный проспект, 33

Во весь голос Маяковского, 19

Иное кино Невский, 60 (кинотеатр «Аврора»)

Брянск **Закладка** улица Калинина, 107

Верхняя Пышма **Книги, кофе и др. измерения** Успенский, 99

Владимир **N1KE7UP** Большая Московская, 22а, цокольный этаж

Воронеж **[Элефтерия]** Кардашова, 5

Грозный **Jeanne Books** Хамзата Орзамиева, 29

Краснодар **Чарли** Красная, 69

Краснодар **Bookowsky** Рашилеветская, 106

Пермь **Пиотровский** Ленина, 54

Ставрополь **князь МЫШКИН** Космонавтов, 8

Томск **Догма 80** Ленина, 85а, 2 этаж, офис 4

Ярославль **Книжная лавка Юрия Швецова** Свердлова, 9

www.opustoshitel.ru, totenburg.org,

ozon.ru, Читай-город, Лабиринт

mybooks.by (Беларусь)

merion.lv (Латвия)